

DIGITALES ARCHIV

ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
ZBW – Leibniz Information Centre for Economics

Kapeljušnikov, R. I.

Book

Contra paninstitucionalizm : = Contra Pan-institutionalism

Provided in Cooperation with:

National Research University, Moscow

Reference: Kapeljušnikov, R. I. (2019). Contra paninstitucionalizm : = Contra Pan-institutionalism. Moskva : Izd. dom Vysšej školy ékonomiki.

This Version is available at:
<http://hdl.handle.net/11159/2971>

Kontakt/Contact

ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft/Leibniz Information Centre for Economics
Düsternbrooker Weg 120
24105 Kiel (Germany)
E-Mail: [rights\[at\]zbw.eu](mailto:rights[at]zbw.eu)
<https://www.zbw.eu/econis-archiv/>

Standard-Nutzungsbedingungen:

Dieses Dokument darf zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen. Sofern für das Dokument eine Open-Content-Lizenz verwendet wurde, so gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

<https://zbw.eu/econis-archiv/termsfuse>

Terms of use:

This document may be saved and copied for your personal and scholarly purposes. You are not to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform, distribute or otherwise use the document in public. If the document is made available under a Creative Commons Licence you may exercise further usage rights as specified in the licence.

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Р.И. Капелюшников

CONTRA ПАНИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

Препринт WP3/2019/03

Серия WP3

Проблемы рынка труда

Москва
2019

УДК 330.837

ББК 65.02

К20

Редактор серии WP3
«Проблемы рынка труда»
В.Е. Гимпельсон

Капелюшников, Ростислав Исаакович.

К20 Contra панинституционализм [Текст] : препринт WP3/2019/03 / Р. И. Капелюшников ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — (Серия WP3 «Проблемы рынка труда»). — 84 с. — 56 экз.

Работа посвящена критическому анализу панинституционализма — подхода, объясняющего ход мировой экономической истории изменениями в формальных экономических и формальных политических институтах. Этот подход является монокаузальным, так как для него формальные институты не просто имеют значение: де-факто только они и имеют значение. Наиболее полные и развернутые версии панинституционализма были представлены в двух книгах, получивших широкую известность во всем мире, — «Насилие и социальные порядки» Д. Норта, Дж. Уоллиса и Б. Вейнгаста (2009) и «Почему одни страны богатые, а другие бедные» Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона (2012). Российским академическим сообществом их идеи были восприняты как последнее слово современной экономической и политологической мысли. В работе вскрывается методологическая узость, концептуальная противоречивость и историческая неадекватность панинституционалистского подхода. В частности, он оказывается неспособен объяснить ключевое событие мировой экономической истории — Промышленную революцию в Англии в середине XVIII в., то есть переход от мальтузианского к шumpетерианскому экономическому росту.

УДК 330.837

ББК 65.02

Препринты Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» размещаются по адресу: <http://www.hse.ru/org/hse/wp>

© Капелюшников Р. И., 2019
© Оформление. Издательский дом
Высшей школы экономики, 2019

Введение

«Панинституционализмом» я буду называть подход, объясняющий ход мировой экономической истории изменениями в формальных экономических и формальных политических институтах¹. Добавление приставки «пан» призвано подчеркнуть, что согласно этому подходу формальные институты не просто имеют значение: де-факто только они и имеют значение. Рассеянные по работам панинституционалистов эпизодические отсылки к иным факторам (географическим, культурным и другим) носят по преимуществу ритуальный характер. В их объяснительных схемах эти факторы присутствуют лишь номинально, так что формальные институты оказываются не просто главной, но, по сути, единственной движущей силой исторического процесса.

Наиболее полные и развернутые версии этого подхода были представлены в двух книгах, получивших широкую известность во всем мире, — «Насилие и социальные порядки» Д. Норта, Дж. Уоллиса и Б. Вейнгаста (2009) и «Почему одни страны богатые, а другие бедные» Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона (2012). Такое «двоение» создает определенные технические трудности, так как эти альтернативные версии используют отличную терминологию и несколько по-иному расставляют акценты. Однако концептуальное ядро у них общее: это — идеи Дугласа Норта (1920–2015). В обоих случаях мы имеем дело с конкретизацией и детализацией исходных интуиций, представленных Нормом в его более ранних работах. Поэтому помимо термина «панинституционализм» в качестве равнозначных я буду также использовать выражения «нортианская экономика» и «программа Норта/Аджемоглу».

Сверхзадача обоих исследований — дать объяснение необозримо-многообразию экономических режимов, возникавших в мировой истории: почему в те или иные эпохи одни общества оказывались богатыми, а другие бедными, почему одни процветали, а другие стаг-

¹ «Институциональные различия определяли динамику экономического роста на протяжении всех эпох» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 172).

нировали и, наконец, почему менее успешным так плохо удавалось перенимать опыт более успешных? И в том и в другом случае ответ звучит одинаково: в конечном счете все дело в качестве формальных экономических и формальных политических институтов, задающих траектории развития любых обществ. В обеих книгах все множество существовавших ранее и существующих сегодня институтов подразделяется на «плохие» и «хорошие»: Норт с соавторами противопоставляют «порядки ограниченного доступа» «порядкам открытого доступа», а Аджемоглу и Робинсон «экстрактивные» институциональные режимы «инклюзивным» институциональным режимам. «Хорошие» институты задают правильные стимулы, обеспечивая процветание и рост; «плохие» задают неправильные стимулы, порождая бедность и стагнацию. Обе на конкретных исторических кейсах стремятся продемонстрировать универсальность этой закономерности.

Конечно, в таком подходе нет ничего уникального: каузальная схема «формальные институты => структура стимулов => рост/отсутствие роста» принимается сегодня подавляющим большинством мейнстримных экономистов, так что в этом смысле едва ли не всех их можно считать «институционалистами». Однако в «Насилии и социальных порядках» Норта, Уоллиса и Вейнгаста и «Почему одни страны богатые, а другие бедные» Аджемоглу и Робинсона отличительные черты панинституционализма как исследовательской программы проступают рельефнее и полнее, чем где-либо еще. Этим и объясняется их выбор в качестве фокуса последующего обсуждения.

Российским академическим сообществом книги Норта/Уоллиса/Вейнгаста и Аджемоглу/Робинсона были восприняты как последнее слово современной экономической и политологической мысли (Застовцев, 2013; Натхов, Полищук, 2017а; Натхов, Полищук, 2017b; Расков, 2011)². Многими предложенный в них понятийный аппарат был сразу взят на вооружение и в их терминах начали активно осмысляться проблемы не только вчерашнего или позавчашнего, но и сегодняшнего дня, в том числе касающиеся российской экономики. Попытка более трезвого взгляда на методологические установки и объяснительные схемы панинституционализма может послужить полезным противовесом его некритическому восприятию, характер-

² Одно из немногих исключений — работа В.В. Арсланова (Арсланов, 2016).

ному, насколько можно судить, для значительной части отечественных исследователей.

Панинституционализм как исследовательская программа

В современных исследованиях, посвященных проблемам экономического роста, выделяются два уровня анализа: первый — это «стандартная» теория роста, изучающая его проксимальные (ближайшие) причины, второй — это метатеория роста, изучающая его ультимальные (конечные) причины. Непосредственные источники экономической динамики давно и хорошо известны: физический капитал, человеческий капитал, разделение труда, реаллокация ресурсов, экономия на масштабе, технологический прогресс. Однако если двигаться дальше вглубь, то возникает более фундаментальный вопрос: почему одни общества способны успешно накапливать физический и человеческий капитал, расширять разделение труда, разрабатывать и внедрять новые технологии, в то время как другим это удастся плохо или не удастся совсем? Ответ на него требует выявления глубинных источников экономического роста. Среди кандидатов, которых прочат на эту роль чаще всего: география (природные и климатические условия), институты, культура, стохастические шоки (случайные исторические события, направляющие последующее развитие по определенному руслу). В последние десятилетия исследовательские интересы все большего числа экономистов начали отчетливо сдвигаться от «стандартной» теории роста к метатеории роста, воспринимаемой сегодня как передний край современной экономической мысли.

Если говорить о традиционном анализе факторов экономического роста, то здесь среди экономистов существует полное согласие: «мотором» современного (шумпетерианского) роста единодушно признаются идеи, дающие жизнь новым более совершенным технологиям и инициирующие таким образом процесс «созидательного разрушения» (Jones, 2005). В то же время в понимании глубинных источников экономического роста никакого консенсуса не наблюдается: здесь противостоят друг другу несколько конкурирующих подходов, ставящих во главу угла разные факторы. Однако наиболее популярным из них, несомненно, является подход, придающий клю-

ческое значение институтам (прежде всего формальным — таким как права собственности). С этой точки зрения панинституционализм предстает как одна из версий метатеории экономического роста, причем версия, явно доминирующая в сегодняшнем экономическом дискурсе.

В результате мы сталкиваемся с достаточно парадоксальной объяснительной асимметрией: если в конвенциональной теории роста главной движущей силой экономического развития признаются идеи, то в метатеории роста упоминания о них, как правило, редки и случайны. С одной стороны, нас убеждают, что ключом к пониманию современного экономического роста являются новые технологические и организационные идеи, но, с другой, утверждают, что складывающиеся в разных человеческих сообществах представления о предпочтительном устройстве социума — назовем их «метаидеями» (скажем, о том, как следует относиться к инновациям и инноваторам) — не являются сколько-нибудь значимым самостоятельным фактором. Это тем более удивительно, что в жизни человеческих сообществ самым распространенным источником стохастических шоков, или «социальных мутаций», выступают именно идеи — хотя бы потому, что они возникают гораздо чаще, чем любые другие случайные события, будь то войны, эпидемии, землетрясения, наводнения или изменения климата. Но факт остается фактом: в метатеории роста идеям в качестве ультимальной причины экономического развития придется в лучшем случае лишь фоновое значение.

Конечно, работы Норта и его последователей включают немало отсылок к иным фундаментальным источникам экономического роста помимо формальных институтов. Однако при ближайшем рассмотрении все они оказываются чисто декоративными, поскольку на деле нортианские объяснительные схемы прекрасно обходятся без привлечения каких бы то ни было дополнительных факторов. (Характерно, что в книге Аджемоглу и Робинсона глава, посвященная критическому разбору альтернативных объяснений, так и называется — «Теории, которые не работают».)

В результате панинституционализм предстает как монокаузальная конструкция, где единственной конечной причиной экономического роста провозглашаются формальные институты. Можно даже выразиться резче, сказав, что это не просто монокаузальная, а ультрамонокаузальная объяснительная схема: из всего множества фор-

мальных экономических институтов в качестве объясняющей переменной выбирается лишь один — права собственности, а из всего множества характеристик прав собственности тоже лишь одна — степень их защищенности (security): «Институт — это по существу система или набор экономических прав собственности» (Allen, 2011, 226); «Защищенные права частной собственности являются <...> центральным элементом потому, что только те, чьи права собственности защищены, будут готовы инвестировать и повышать производительность труда» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 105). В работах Аджемоглу и его соавторов можно даже обнаружить специальную мини-концепцию, из которой следует, что с экономической точки зрения важна защищенность только прав собственности, тогда как, скажем, защищенность контрактов практически не важна (Acemoglu, Johnson, 2005)³.

По-видимому, не будет преувеличением сказать, что в панинституционализме глубинным источником экономического развития выступают не институты вообще и даже не права частной собственности вообще, а единственно их защищенность от разного рода рисков. Есть защищенность — есть рост, нет защищенности — нет роста: «В качестве ключа к экономическому росту определяющее значение [в нортианстве. — *Р. К.*] придается такой характеристике прав собственности как их защищенность» (Ogilvie, Carus, 2014, 406).

Существует еще одна, не менее любопытная — дисциплинарная — асимметрия, касающаяся рецепции нортианских построений. Если «чистые» экономисты их практически единодушно принимают, то специалисты по экономической истории почти столь же единодушно отвергают. Причины того и другого достаточно прозрачны.

Несмотря на то, что работы Норта буквально переполнены инвективами по адресу неоклассики (за ее институциональную стерильность), большинством экономистов его ключевые идеи были приняты «на ура», почти сразу же став неотъемлемой частью современного мейнстрима. Сегодня их дальнейшей разработкой заняты крупнейшие мейнстримные экономисты (достаточно назвать имя Дарона Аджемоглу). С чем связан такой парадокс? Все дело в том, что

³ Согласно их представлениям, все дело в том, что если права собственности регулируют отношения между «обычными» людьми и сильными мира сего (прежде всего — правителями), то контрактные права регулируют отношения «обычных» людей между собой.

исходное нортвовское понимание институтов как «правил игры» идеально вписывается в базовую концептуальную схему, принятую в современном экономическом анализе, а именно — в схему максимизирующего поведения индивидов в заданных ограничениях. В норттианской перспективе институты предстают как всего лишь еще один, дополнительный класс ограничений, с которыми, принимая решения, приходится иметь дело индивидам. Учет институтов в качестве ограничений, задающих тот или иной специфический набор стимулов, не требует серьезного пересмотра утвердившегося теоретического канона, не говоря уже об отказе от него.

Вот лишь небольшая подборка высказываний ведущих исследователей-институционалистов, иллюстрирующая, как удачно монтируются друг с другом норттианство и неоклассика:

«Институты — это правила игры в обществе или, выражаясь более формально, разработанные людьми правила, которые упорядочивают их взаимодействия друг с другом. Как следствие, они задают структуру стимулов при любых человеческих взаимоотношениях — политических, социальных, экономических» (North, 1991, 3).

«Если какое-либо общество не растет, так это только потому, что оно не обеспечивает никаких стимулов для экономической инициативы» (North, Thomas, 1973, 2).

«Институты задают структуру стимулов, действующих в обществе, поэтому политические и экономические институты определяют собой характер функционирования экономики» (Норт, 2004, 89).

«Экономические институты важны, потому что они влияют на структуру экономических стимулов в обществе. Без прав собственности индивиды не будут иметь стимулов инвестировать в физический или человеческий капитал или осваивать более эффективные технологии» (Acemoglu et al., 2005a, 389).

«Наиболее распространенное представление об институтах заключается в том, чтобы рассматривать их как ограничения поведения индивидов как индивидов» (Норт, Уоллис, Вейнгастр, 2011, 59).

«Институты важны постольку, поскольку они структурируют стимулы индивидов и сдерживают их» (Там же, 425).

«Политические институты — это совокупность правил, которые формируют систему стимулов для различных политических игроков» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 112).

«Достоинство [нортианства. — *Р. К.*] заключается в инкорпорировании институциональных характеристик в неоклассическую теорию даже без нарушения центральных для нее предпосылок о рациональности и преследовании собственных интересов» (Greif, Mokyr, 2016, 30).

«По сути, институты являются стимулами и ограничениями, налагаемыми обществом на индивидуальное поведение. Институты по определению во многом подобны ценам на конкурентном рынке: индивиды могут на них реагировать, но не могут их изменить. <...> В этом смысле трактовка институтов по аналогии с бюджетными ограничениями (которые задаются относительными ценами) действительно оказывается чрезвычайно продуктивной» (Mokyr, 2010, 1–2)⁴.

Как легко убедиться, в представленном перечне все дефиниции «институтов» апеллируют к базовым категориям неоклассического аналитического аппарата — таким как «стимулы», «бюджетные ограничения», «относительные цены». Не удивительно поэтому, что у подавляющего большинства мейнстримных экономистов нортианские идеи встретили самый радушный прием: открывая новое предметное поле для исследовательской активности, они в то же время позволяли ничего не менять в концептуальных представлениях, традиционных для современной экономической науки.

Гораздо менее благожелательная реакция со стороны значительной части профессиональных историков тоже не удивительна, если принять во внимание столь характерную для нортианцев склонность к фантазированию на историческом материале (в последующих разделах нам предстоит еще не раз возвращаться к этому сюжету).

Если говорить об интеллектуальной родословной панинституционализма, то она восходит как минимум к XVIII в., когда среди социальных мыслителей начал активно дебатироваться вопрос, что же в конечном счете правит миром: интересы или мнения? стимулы или идеи? В этом противостоянии по одну сторону баррикад оказываются К. Маркс, экономисты-неоклассики, Д. Норт, по другую — А. Токвиль, Дж. М. Кейнс, Ф. А. Хайек, Д. Макклоски. Панинституционализм можно рассматривать как крайнее выражение интеллектуальной традиции, постулирующей, что в конечном счете как отдельны-

⁴ Норт сам с готовностью признавал, что его подход является продолжением и развитием неоклассического анализа: «<Моя> аналитическая схема, — замечал он, — представляет собой модификацию неоклассической теории» (Норт, 2004, 89).

ми людьми, так и целыми обществами движут одни только интересы или, если говорить более современным языком, стимулы. Стимулы — это альфа и омега, они объясняют все: поменяйте сегодня стимулы, завтра жизнь станет другой.

Неявно это предполагает, что картины мира, которые выстраивали для себя люди разных эпох и разных культур, были идентичны или почти идентичны: «Люди, принадлежащие к любым обществам, в принципе обладают одинаковыми желаниями и действуют одинаково разумно: все — и крестьянин из средневековой Европы, и индийский кули, и член племени яномамо из тропических джунглей, и тасманийский абориген — разделяют единый набор чаяний и в равной мере способны на рациональные поступки с целью их осуществления» (Кларк, 2012, 296). Говоря иначе, индивиды всегда и везде одинаковым образом понимали и структурировали собственные интересы.

Но такой подход был бы оправдан только в том случае, если бы интересы людей целиком определялись общим для них биологическим субстратом. Отказ от биологического детерминизма резко усложняет ситуацию. Тогда объяснения через стимулы без учета различий в субъективных картинах мира могут оказываться вполне работоспособными, когда анализ ограничивается теми или иными локальными точками во времени и пространстве, но явно недостаточными тогда, когда речь заходит о «долгом» историческом времени или широком кросс-культурном контексте.

Основной контраргумент тех, кто представлял иную интеллектуальную традицию, сводился к тому, что сами интересы поддаются переструктурированию посредством идей. Пусть каждый из нас движим стремлением к собственной выгоде, но понять, в чем она состоит, невозможно без «теории» — вне рамок выстроенной тем или иным способом общей картины мира. Новые идеи могут: 1) открывать в людях способности и предпочтения, о которых сами они даже не подозревали; 2) по-иному выстраивать причинно-следственные связи в окружающем мире; 3) превращать некооперативные игры в кооперативные при социальных взаимодействиях. Как следствие, эффекты идей могут оказываться не менее, а в каких-то случаях даже более сильными, чем эффекты стимулов и институтов: «Я согласен признавать за институтами, — писал Токвиль, — лишь второстепенное влияние на судьбы людей. <...> Политические общества оказываются

не такими, какими их делают законы, а такими, какими их делают чувства, верования, идеи, привычки сердца и человеческий дух. <...> Одни только чувства, идеи, нравы способны приводить общества к процветанию и свободе. Я бы хотел попытаться ввести идеи и моральные чувства в качестве элементов процветания и счастья» (цит. по: (Swedberg, 2009, 280)).

Еще более категоричен был Кейнс: «Люди практики, которые считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого. Безумцы, стоящие у власти, которые слышат голоса с неба, извлекают свои сумасбродные идеи из творений какого-нибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет назад. Я уверен, что сила корыстных интересов значительно преувеличивается по сравнению с постепенным усилением влияния идей. Правда, это происходит не сразу, а по истечении некоторого периода времени. В области экономической и политической философии не так уж много людей, поддающихся влиянию новых теорий, после того как они достигли 25- или 30-летнего возраста, и поэтому идеи, которые государственные служащие, политические деятели и даже агитаторы используют в текущих событиях, по большей части не являются новейшими. Но рано или поздно именно идеи, а не корыстные интересы становятся опасными и для добра, и для зла» (Кейнс, 1978, 458).

О том же писал Хайек: «Новые идеи возникают у немногих и постепенно распространяются, пока не становятся достоянием большинства. <...> Наши представления как о будущих последствиях наших действий, так и о том, к чему мы должны стремиться, — главные заповеди, доставшиеся нам как часть культурного наследия общества. <...> Именно идеи, а значит и люди, которые запускают новые идеи в оборот, направляют эволюцию. <...> Люди редко знают, да и не интересуются, откуда пришли распространенные в их время идеи — от Аристотеля или Локка, Руссо или Маркса, или от какого-нибудь профессора, взгляды которого были модны среди интеллектуалов лет двадцать назад. <...> Когда <...> идеи — через работы историков и публицистов, учителей, писателей и интеллектуалов в целом — становятся общим достоянием, они фактически направляют развитие» (Хайек, 2018, 145–147).

Но здесь возникает опасность смешения понятий. «Идеи» большинство панинституционалистов склонны подводить под рубрику

«культуры», рассматривая их как ее составную часть. Однако такая терминологическая практика больше затемняет, чем проясняет: согласимся ли мы считать примерами влияния «культуры», скажем, влияние идей Маркса или влияние идей Кейнса? Едва ли случайно и то, что многие современные исследователи, ставящие во главу угла фактор идей, скептически относятся к объяснениям, где «мотором» экономического развития провозглашается культура (McCloskey, 2016b).

Идеологии и культура — разные феномены с разными механизмами функционирования. Человек выбирает идеологию, но культура выбирает человека. Идеологические пристрастия способны меняться практически мгновенно, культурные привычки — только медленно и постепенно. Соотношение между идеями и культурой подобно соотношению между литературой (с индивидуальным авторством) и фольклором (с безличным *modus operandi*). Идеология — это осознанное, вербализованное, дискурсивное знание, тогда как культура — это чаще всего бессознательные, невербализованные, принимаемые по умолчанию, логически слабо связанные ценности и представления. Конечно, никакой непроходимой стены здесь нет: с течением времени идеи могут проникать в культуру, закрепляясь в ней и меняя ее состав. Но, строго говоря, это всего лишь финальная стадия их жизненного цикла (когда они оказываются успешными). Опыт показывает, что люди нередко предпринимают те или иные действия не потому, что ожидают от них большой отдачи, а потому, что считают их «правильными»: они действуют так, а не иначе исходя из идейных соображений. И уже реализация тех или иных идей создает группы выигравших и проигравших, после чего на авансцену выходят стимулы и интересы.

Отсюда становится понятно, почему рассуждения многих нортинцев оказываются пронизаны полемикой (как явной, так и скрытой) с идеологическим или, лучше сказать, «идеационным» подходом. В нем они видят конкурента, посвящая немало усилий его опровержению.

Норт и соавторы. Казалось бы, идеи, или «убеждения» (где под «убеждениями» понимаются идеи, уже получившие признание и укоренившиеся в обществе) — один из сквозных сюжетов «Насилия и социальных порядков». Однако при более внимательном чтении это впечатление быстро рассеивается: на самом деле Норт и его соавто-

ры совершенно не склонны приписывать фактору идей какого-либо самостоятельного значения.

Во-первых, все переходы от одного институционального режима к другому описываются ими исключительно в терминах интересов/стимулов без каких-либо отсылок к идеям/убеждениям. Как уже упоминалось, они различают «порядки открытого доступа» и «порядки ограниченного доступа» с делением последних на «хрупкие», «базисные» и «зрелые». Когда из «хрупкого» естественного государства возникает «базисное»? Когда для этого появляются необходимые стимулы (Норт, Уоллис, Вейнгагст, 2011, 130–131). Когда на смену «базисному» естественному государству приходит «зрелое»? Когда это становится выгодно представителям господствующей коалиции (Там же, 143–144). Когда «зрелое» естественное государство уступает место порядку открытого доступа? Когда элиты сочтут, что это в их интересах (Там же, 75, 77, 95, 101, 113, 323, 401). Вся цепочка институциональных метаморфоз выводится напрямую из интересов элитных групп без какого-либо прямого или косвенного участия идей⁵.

Во-вторых, Норт, Уоллис и Вейнгагст в явном виде отрицают какую-либо роль идей при переходе от ограниченного доступа к открытому: «Вовсе не <...> идеи стали тем, что позволило данным странам [Великобритании, Франции и США. — Р. К.] осуществить действительный переход. Описывать изменения середины XIX в. <...> как реализацию идей Просвещения — значит препятствовать любым усилиям понять эти изменения» (Там же, 407–408).

В-третьих, вслед за А. Грейфом (Greif, 2006) они описывают идеи/убеждения как нечто вторичное — полностью производное от институциональной среды и автоматически меняющееся вслед за изменениями в ней. Зависимость убеждений от институтов и создаваемых на их основе организаций — один из лейтмотивов «Насилия и социальных порядков»: «индивиды в различных социальных порядках формируют различные представления» (Норт, Уоллис, Вейнгагст, 2011, 46); «институты <...> структурируют способ формирования у индивидов убеждений и мнений» (Там же, 59); «у членов большинства организаций развиваются общие убеждения» (Там же, 60); «поведе-

⁵ Вот лишь одно из наиболее характерных высказываний: «Переход от ограниченного доступа к открытому происходит в два шага. Каждый из этих шагов должен соответствовать *эгоистическим интересам элит*» (Норт, Уоллис, Вейнгагст, 2011, 401) (курсив мой. — Р. К.).

ние, вызываемое созданными институтами стимулами, должно привести к согласующимся с поведением убеждениям» (Норт, Уоллис, Вейнгаст, 2011, 80); «общественные институты <...> санкционируют формирование <...> общих убеждений» (Там же, 103); «порядки открытого доступа подкрепляют <...> убеждения при помощи ряда общественных благ и услуг» (Там же, 214); «представления <...> зависят от природы тех организаций, в которых люди действуют» (Там же, 425); «убеждения людей должны сочетаться с реальным поведением индивидов, относящихся к тем институтам и организациям, с которыми они взаимодействуют» (Там же, 430); «представления <...> вытекают из структуры организаций и институтов» (Там же, 433)⁶.

Да, идеи/убеждения присутствуют в объяснительной схеме Норта/Уоллиса/Вейнгаста, но выступают в ней как зависимая, а не как независимая переменная. По большому счету им приписывается одна-единственная функция — «охранная»: восстанавливать устойчивость системы после возмущений, вызванных сменой институтов. Сначала институты выводят систему из равновесия, затем идеи/убеждения возвращают ее в него обратно: если институты — агент изменений, то идеи — агент стабилизации. По сути, это всего лишь пассивный рефлекс институциональной и организационной динамики⁷.

В этой трактовке практически все поставлено с ног на голову. История дает нам бесчисленное множество примеров обратного, когда источником перемен выступали новые идеи, тогда как институты и культура, напротив, служили средством консервации статус-кво. Конечно, было бы странно отрицать, что идеи могут использоваться для легитимации и тем самым для продления жизни существующих порядков, но точно так же они могут выступать детонатором изменений. Однако авторы «Насилия и социальных порядков» предпочитают игнорировать этот очевидный факт. Трудно избавиться от

⁶ Сходным образом Аджемоглу и Робинсон утверждают, что культура есть «следствие работы определенных институтов» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 83).

⁷ Норт, Уоллис и Вейнгаст отказываются признавать, что идеи могут иметь самостоятельное значение, поскольку не подкрепленные институционально, они беспомощны и не в состоянии ничего изменить (Норт, Уоллис, Вейнгаст, 2011, 433). Идеи, существующие сами по себе в отрыве от институтов, остаются абстракциями и, следовательно, их влияние эфемерно (Weingast, 2016). Уязвимость подобной аргументации в том, что она легко поддается инверсии. С таким же успехом можно сказать, что институты, не опирающиеся ни на какую идеологию, бессильны и потому, взятые сами по себе, мало на что способны повлиять.

впечатления, что их подход — это не более чем подновленная редакция марксистского учения о базисе и надстройке.

Аджемоглу и соавторы. В программной статье Д. Аджемоглу, С. Джонсона и Дж. Робинсона «Институты и экономический рост» несколько разделов посвящено полемике с подходом, который обозначается ими как «идеологический»: «Мы не отрицаем, что различия в идеологии часто играют важную роль, но мы не верим, что удовлетворительная теория институциональных различий может быть основана на различиях в идеологии» (Acemoglu et al., 2005a, 425). Но иногда они все же проговариваются, невольно признавая потенциальную объяснительную силу этого альтернативного подхода.

Так, в книге Аджемоглу и Робинсона пересказывается история про то, как в классическом учебнике П. Самуэльсона «Экономика» на протяжении многих десятилетий повторялся тезис о том, что Советский Союз в скором времени обгонит США по объему ВВП (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 177). (Правда, сроки, когда это произойдет, с каждым переизданием «Экономики» отодвигались все дальше и дальше.) Трудно заподозрить, чтобы Самуэльсон выдвигал свой тезис только потому, что был в нем «материально» заинтересован. Очевидно, он просто считал плановую систему более эффективной с динамической точки зрения, чем рыночную (и с ним, напомним, был абсолютно солидарен мейнстрим экономической науки того времени). Но точно так же могли думать и те, кто в XX в. разрабатывал и реализовывал на практике социалистические и коммунистические проекты в разных частях света. Они точно так же могли исходить из определенной картины мира, которую считали истинной, и верить, что предлагаемая ими экономическая система лучше и способна обеспечить более высокий уровень благосостояния общества⁸.

Для программы Норта/Аджемоглу идеационный подход оказывается серьезным вызовом, потому что он способен объяснять многие случаи расхождения в траекториях экономического развития,

⁸ Еще пример: Аджемоглу и Робинсон отмечают, что отмена работорговли и рабовладения в Британской империи в начале XIX в. стала финалом широкой общественной кампании, развернутой аболиционистами (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 345). Но британцы, являвшиеся налогоплательщиками, никак не могли быть материально заинтересованы в принятии подобного решения, так как при отмене рабства государству пришлось взять на себя обязательство по выплате бывшим работодателям солидной денежной компенсации.

которые не поддаются объяснению в терминах географии, культуры или истории. Излюбленный кейс панинституционалистов — Северная и Южная Корея. География? Она у них одинаковая. Культура? Она у них единая. История? Она у них общая. Что же остается после отсеечения всех этих факторов? Только институты. Отсюда вердикт: все дело в институциональных различиях — инклюзивные институты обеспечили процветание южнокорейской экономики, тогда как экстрактивные вызвали крах северокорейской.

Но даже нортианцам приходится признать, что для идеационного подхода данный кейс не создает ни малейших затруднений (Acemoglu et al., 2005a, 425). Очевидно, что расхождение в траекториях экономического развития между Южной и Северной Кореей было вызвано тем, что в первой восторжествовали идеи либеральной демократии, тогда как во второй идеи марксизма. Согласно Аджемоглу и его соавторам, такое объяснение действительно пригодно применительно к начальному периоду после раздела Корейского полуострова, когда было неясно, кто же в развернувшемся экономическом соревновании выйдет победителем. Но сейчас, когда крах социалистической экономики стал свершившимся фактом, оно, по их мнению, уже не работает. Начиная с 1980-х годов сохранение в Северной Корее социалистической системы может объясняться только корыстными интересами правящей верхушки: «Возможно, Ким Ир Сен и члены коммунистической партии на Севере верили в конце 1940-х годов, что коммунистическая политика будет лучше для страны и экономики. Однако к 1980 г. стало ясно, что коммунистическая экономическая политика на Севере не работает. Продолжающиеся попытки лидеров цепляться за такую политику и за сохранение власти можно объяснить только их стремлением преследовать свои интересы за счет остального населения. Плохие институты остаются в силе явно не в интересах всего общества в целом, а в интересах правящей элиты, и подобное положение вещей просматривается в большинстве случаев институциональных провалов» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 406—407).

Но это внерациональный аргумент, свидетельствующий либо о недостатке воображения у авторов книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные», либо о наивности их представлений о человеческой природе. (Они, по-видимому, не допускают, что человек может свято верить в то, что одновременно приносит ему немалые выгоды.) По-моему, куда труднее вообразить, чтобы Сталин, Мао

или Кастро сами не верили в торжество коммунистических идей — даже в наиболее катастрофические периоды в истории стран, которыми они правили. (Возможно, все дело в отсутствии у Аджемоглу и Робинсона личного опыта жизни при социализме?) Позволю себе высказаться еще резче: если правитель и его окружение сами не верят в идеи, которые транслируют другим членам общества, это верный пролог к крушению режима. Как говорил Й. Шумпетер, идеология ничто, если она не искренна (Schumpeter, 1949).

В результате единственное преимущество институционального, или «социально-конфликтного», подхода перед идеационным Аджемоглу и его соавторы усматривают в том, что «социальные конфликты могут приводить к экономическим институтам, вызывающим отставание в развитии, даже тогда, когда всем агентам хорошо про это известно» (Acemoglu et al., 2005a, 428). Правда, убедительных исторических примеров сохранения «плохих» институтов, чья неэффективность была бы безусловно ясна *всем без исключения членам общества*, они не приводят. Откуда, например, известно, что все граждане Северной Кореи осознают провальное экономическое состояние своей страны и понимают, что при ином политическом строе оно стало бы лучше? И более того: почему нужно считать, что все общества, известные истории, всегда ставили своей главной целью достижение высокого уровня благосостояния? А стремление к славе? К военному могуществу? К исполнению Божьих заповедей? Идея экономического роста достаточно молода (ей от силы 150–200 лет), так что ее вкладывание в головы людей далекого прошлого, к чему питают пристрастие нортианцы, выглядит по меньшей мере анахронично. Наконец, на вопрос, почему «плохие» институты могут сохраняться даже тогда, когда про их отвратительное качество всем всё давно понятно, имеется очень простой ответ: из-за несовпадения мнений, какие альтернативные институты лучше и как их лучше устанавливать.

Базовая аналитическая схема

В построениях панинституционалистов можно выделить два аспекта — нормативный и позитивный. В первом случае речь идет о том, какой тип формальных экономических институтов следует считать

«хорошим» (то есть обеспечивающим устойчивый экономический рост), во втором — о том, каким образом такие институты возникают, а если этого не происходит, то почему.

Несмотря на различия в акцентах, нормативные представления у Норта, Уоллиса и Вейнгаста и у Аджемоглу и Робинсона полностью идентичны (в чем, впрочем, нет ничего неожиданного). И те и другие исходят из того, что ядро «хороших» экономических институтов составляют надежно защищенные права частной собственности: это — необходимое и достаточное условие для успешного экономического развития. Связь здесь вполне очевидная: только защищенные права собственности способны обеспечить стимулы к инвестициям и технологическим нововведениям, поскольку никто никогда не будет вкладывать своих средств ни в какие проекты, если знает, что другие — государство, организованные группы, частные лица — смогут присвоить всю отдачу от них себе. Идея защищенности прав собственности может представлять в разной терминологической оболочке: как «гарантии прав собственности», «запреты на использование насилия», «защита от экспроприации», «защита от конфискационных налогов», «свобода контрактов», «открытый вход на рынок», «свободное перемещение товаров и людей во времени и пространстве», «свобода конкуренции», «доступ к справедливому суду», «равенство перед законом», «верховенство права», «отсутствие дискриминации» и т.д. Но несмотря на смысловые оттенки, речь во всех случаях идет об одном и том же базовом условии: о том, что собственник свободен распоряжаться принадлежащими ему ресурсами по своему усмотрению и никто не вправе ему в этом помешать.

Строго говоря, в таком наборе нормативных представлений нет ничего нового или уникального: в явном виде он был сформирован еще классическим либерализмом (Д. Юм, А. Смит, Дж. С. Милль), а позднее получил развернутое обоснование в теории прав собственности (Р. Коуз, А. Алчиан, Г. Демсец). (С некоторой долей иронии можно сказать, что нортианство — это как бы «либерализм под прикрытием».)

Оригинальный вклад панинституционализма связан с его позитивной исследовательской повесткой.

Базовая нортианская схема предполагает, что «хорошие» формальные экономические институты не возникают автоматически, спонтанно, сами по себе — только потому, что они способны обеспечить

более высокий уровень благосостояния общества (в более строгих терминах — только потому, что они являются Парето-эффективными). Для того, чтобы они появились, необходимы «хорошие» политические институты: «Хотя от экономических институтов зависит, будет страна бедной или богатой, именно политика и политические институты определяют выбор этих экономических институтов» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 65).

Связано это с тем, что надежной защита прав собственности может стать только тогда, когда ее осуществляет третьей стороной, имеющая монополию на легитимное насилие, то есть государство. Его роль в качестве гаранта прав собственности является решающей: «Государство — главный участник всего этого процесса» (North, 1990, 107). Плохо справляется государство с функциями гаранта прав собственности — роста нет, хорошо справляется — рост есть.

Угроза правам собственности может исходить с двух сторон — во-первых, от частных лиц и, во-вторых, от самого государства. Чтобы обезопасить их от риска частного насилия, требуется сильное централизованное государство, но чтобы обезопасить их от риска государственного насилия, само государство должно строиться на принципах демократии. В этом контексте Аджемоглу и Робинсон пишут о двух условиях, необходимых для обеспечения инклюзивности: централизме и плюрализме (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 114). Только сильное централизованное государство с рассредоточением политической власти среди широкого круга участников способно обеспечить эффективную защиту прав собственности: «Поскольку государственная власть является одновременно ограниченной и достаточно широко распределенной между различными общественными группами, могут появиться и развиваться экономические институты, способствующие процветанию» (Там же, 64)⁹.

Как следствие, в панинституционализме экономические институты выступают в роли объясняемой, тогда как политические — в роли объясняющей переменной: «Выработка экономических институтов и правил происходит в ходе политического процесса, особенности которого, в свою очередь, зависят от институтов политических» (Там же, 63). Хотя это не исключает обратного влияния экономики на по-

⁹ Рассредоточение политической власти уменьшает опасность, что государство станет орудием в руках каких-либо заинтересованных групп и что через него они начнут перераспределять ресурсы общества в свою пользу.

литику, все же главный каузальный вектор ориентирован именно так: изменения «правил игры» в экономической сфере *следуют* за изменениями «правил игры» в политической сфере, а не предшествуют им.

В данном пункте панинституционализм жестко оппонирует теории модернизации, где роли распределяются обратным образом. В ней предполагается, что общества, которым удалось достаточно далеко продвинуться по пути социально-экономической модернизации, рано или поздно отказываются от авторитаризма и переходят к демократии (Lipset, 1959). Не демократизация служит триггером экономического роста, а, напротив, экономический рост служит триггером демократизации. Отсюда понятно то категорическое неприятие, с каким нортянцы относятся к теории модернизации (Acemoglu et al., 2005b; 2008; 2009)¹⁰.

Вместе с тем они не отрицают, что устойчивость любой политической системы во многом зависит от характера действующих экономических институтов. В этом контексте Норт и его соавторы выдвигают концепцию «двойного баланса интересов»: речь идет о том, что структура распределения потенциала насилия должна соответствовать структуре распределения экономических рент (Норт, Уоллис, Вейнгайт, 2011, 67). Когда баланс нарушен, наступает период нестабильности с активной борьбой за политическую власть и перераспределение экономических ресурсов. Порядки ограниченного доступа в экономике и политике взаимно поддерживают друг друга; порядки открытого доступа в экономике и политике действуют так же (Там же, 74). В отличие от этого сочетания открытого экономического доступа с ограниченным политическим доступом либо ограниченного экономического доступа с открытым политическим до-

¹⁰ Не вдаваясь в детали этого спора, отметим, что ни та ни другая сторона не допускают, что их объяснительные схемы могут сталкиваться с проблемой пропущенной переменной. Нельзя исключать, что ни «инклюзивные» экономические институты не являются причиной «инклюзивных» политических институтов, ни «инклюзивные» политические институты не являются причиной «инклюзивных» экономических институтов. И те и другие могут быть производными от действия некоего третьего, общего для них фактора. Наиболее вероятным кандидатом на эту роль являются, по-видимому, идеи: именно идеологический сдвиг, имевший место в XVIII в., мог стать той силой, которая подтолкнула к переходу как от мальтузианского к шумпетерианскому экономическому росту, так и от авторитарного правления к современной демократии.

ступом нежизнеспособны и рано или поздно мутируют в режимы либо полностью ограниченного, либо полностью открытого доступа.

Ту же идею, только с использованием еще более красочных формулировок — «порочный круг экстрактивности» и «добродетельный круг инклюзивности», развивают Аджемоглу и Робинсон: «экстрактивные экономические институты естественным образом возникают в условиях экстрактивных политических институтов», тогда как «инклюзивные экономические институты поддерживают соответствующие политические институты и сами же, в свою очередь, опираются на них» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 114, 567). Напротив, «гибридные» системы — экстрактивных экономических институтов в сочетании с инклюзивными политическими институтами или инклюзивных экономических институтов в сочетании с экстрактивными политическими институтами — неустойчивы и недолговечны (Там же, 116). Стимулы, которые от них исходят, толкают в разные стороны, так что рано или поздно они трансформируются в один из двух «чистых» типов.

Почему «однородные» режимы внутренне стабильны, тогда как «смешанные» нет? Экстрактивные политические институты позволяют элитам устанавливать экономические институты, становящиеся для них источником получения рент. Но чем больше ресурсов благодаря «плохим» экономическим институтам оказывается сконцентрировано в их руках, тем прочнее их политическая власть. Отсюда — «порочный круг экстрактивности»: «Те, кто выигрывает от сохранения статус-кво, лучше организованы и располагают более значительными ресурсами, что позволяет им блокировать любые важные изменения, угрожающие их экономическим привилегиям и доступу к власти» (Там же, 148—149). Сходным образом инклюзивные политические институты открывают дорогу «хорошим» экономическим институтам, способствующим рассредоточению благ среди различных групп населения. Но чем меньше ресурсов достается элитам, тем труднее им захватить политический контроль. Отсюда — «добродетельный круг инклюзивности»: «Мощный процесс позитивной обратной связи <...> предохраняет институты от попыток демонтажа и фактически приводит в действие силы, действующие в направлении дальнейшего развития инклюзивности» (Там же, 412).

Итак, появлению «хороших» экономических институтов мешают «плохие» политические институты, а отсутствие «хороших» эконо-

мических институтов делает невозможным устойчивый рост. Но это только общая схема. Чтобы она стала полноценной теорией, необходимо ответить еще на три вопроса: 1) почему «плохие» политические институты не исчезают, если они неэффективны; 2) при каких условиях «хорошие» политические институты все-таки могут вытеснять «плохие»; 3) как при переходе от «плохих» политических институтов к «хорошему» меняется сама механика экономического роста.

Почему все «плохое» так устойчиво? Ответ на первый вопрос прост: «плохие» политические институты существуют, потому что выгодны тем, в чьих руках находится политическая власть, — элитам и правителям, даже если они невыгодны всему обществу. Элиты всегда выбирают институты, которые, как они ожидают, будут способствовать максимизации их рент (Acemoglu et al., 2005, 427). Это позиция, общая для всех нортянцев: хотя «плохие» институты «всегда негативным образом сказываются на выпуске *в целом*, они могут приносить и приносят выгоды отдельным *индивидам*» (Кларк, 2012, 307). В конечном счете судьбы институтов, а значит, и возможности экономического роста определяются интересами правящих классов и ничем иным.

Именно поэтому Аджемоглу и его соавторы квалифицируют свой подход как «социально-конфликтный» (см. выше). Исходным для них является представление о том, что конфликты из-за ресурсов и власти представляют собой борьбу за контроль над институтами и что в любых обществах эта борьба никогда не прекращается (Acemoglu et al., 2005, 569). Определяя масштабы и направления экономической деятельности, институты в то же самое время задают и структуру распределения ее плодов (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 121). Какие группы будут в выигрыше, а какие в проигрыше, кто окажется в числе бенефициаров, а кто в числе «лузеров», в конечном счете решают они.

В результате вопросы эффективности (о «размере пирога») оказываются неотделимы от вопросов распределения (о «дележе пирога»): одни институты способствуют росту, но при этом не дают выгод политически влиятельным группам; другие порождают стагнацию, но при этом способствуют обогащению таких групп. Но поскольку выбор институтов осуществляется не всем обществом, а только теми, в чьих в руках находится политическая власть, он, естественно, производится в интересах элит, а не основной части населения. Среди

прочего это предполагает, что, например, институциональный выбор в пользу экономической недоразвитости всегда является *сознательным*: если бы правящие классы, контролирующие государство, захотели, им бы не составило труда вывести экономику на траекторию роста, но они не делают этого, потому что не хотят, а не хотят, потому что опасаются понести в результате этого серьезные потери.

Это предполагает также, что *демиургом институтов может выступать только государство*. (Не зря же, напомним, Норт называет его «главным участником всего процесса»!¹¹) В данном отношении панинституционализм предстает прямым антиподом интеллектуальной традиции (А. Фергюсон, К. Менгер, Ф. Хайек), полагающей, что институты могут возникать спонтанно как непредумышленный результат взаимодействия множества индивидов. Для него появление нового института всегда есть плод осознанного выбора, тщательного взвешивания выгод и издержек. Но поскольку, во-первых, люди могут расходиться в мнениях относительно того, какой институт «хороший», а какой «плохой», и, во-вторых, один институт может быть выгоден одним группам, а другой другим, конечное решение всегда остается за элитой. Говоря более конкретно, в руках какой элитной группы находятся рычаги государственного управления, та и выбирает институты: «Именно политические элиты (то есть те, у кого в руках власть) определяют, по каким правилам будет жить общество» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 66).

Почему так трудно рождается все «хорошее»? На второй вопрос все нортIANцы опять-таки отвечают одинаково: «плохие» политические институты, господствовавшие на протяжении большей части человеческой истории, могли смениться «хорошими» только как результат исторической случайности — при уникальном стечении обстоятельств в определенном месте в определенное время.

Такой уникальной точкой во времени и пространстве стала Англия конца XVII в., в которой сложилась исторически беспрецедентная ситуация примерного баланса сил всех политически значимых

¹¹ Парадоксально, но панинституционалисты не замечают, что предлагаемая ими логика неприложима к генезису главнейшего для них самих института — правам собственности, которые «по возрасту» намного старше государства. Как известно, люди начали заниматься земледелием и скотоводством (которые были бы невозможны без разграничения прав собственности) задолго до того, как на историческую арену вышло государство.

групп. Вследствие этого все они оказались заинтересованы в переходе сначала к «хорошим» политическим, а затем и к «хорошим» экономическим институтам. Не случись такого невероятного совпадения интересов, не было бы и никакого перехода от «экстрактивности» к «инклюзивности». Однако алгоритм замены «плохих» (авторитарных) политических институтов «хорошими» (демократическими) может пониматься по-разному.

Аджемоглу и Робинсон описывают переход от авторитаризма к демократии как отказ элит от политической власти в пользу неэлит, так что центральным для них оказывается вопрос, когда и почему такой отказ происходит. Ответ на него, как и следовало ожидать, опять отсылает нас к всемогуществу стимулов: элиты уступают власть неэлитам, когда осознают, что так им будет лучше. Если из-за угрозы революции они полагают, что лишатся власти в любом случае, то могут посчитать, что отдав ее добровольно, они потеряют меньше, чем если бы им пришлось уступать ее вынужденно. Иными словами, отказ от власти выбирается ими как меньшее из возможных зол. Без давления со стороны неэлит переход к «инклюзивным» политическим, а значит, и к «инклюзивным» экономическим институтам был бы невозможен. Конфликты между элитами и неэлитами — двигатель институциональной эволюции, почти как в марксистской теории классовой борьбы.

У Норта, Уоллиса и Вейнгаста позиция иная. Они рассматривают переход от «плохих» политических институтов к «хорошим» не как разрешение конфликта между элитами и неэлитами, а как разрешение внутреннего конфликта между различными группировками самой элиты. В их понимании наибольшую угрозу для элит представляют не неэлиты с их революционными порывами, а конкурирующие элитные группы, всегда нацеленные на захват богатства и привилегий, принадлежащих другим. Демократия обеспечивает надежную защиту от таких захватов, так что от ее установления элиты выигрывают, а не проигрывают, как думают Аджемоглу и Робинсон. В этом контексте Норт, Уоллис и Вейнгаст обращают внимание на то, что переход к демократии чаще всего осуществлялся по инициативе тех или иных фракций самой элиты (Норт, Уоллис, Вейнгаст, 2011, 263).

Почему рост при «плохих» и «хороших» институтах разный? В этом вопросе нортианцы также едины. «Хорошие» политические институты прокладывают дорогу «хорошим» экономическим институтам,

а возникающие благодаря этому надежно защищенные права собственности на идеи (патентное право, авторское право и т.д.) становятся катализатором шумпетерианского «созидательного разрушения». Самоподдерживающийся поток инноваций делает экономический рост устойчивым и непрерывным (подробнее об этом см. Приложение).

Экономический рост возможен и при «плохих» политических институтах, но только при соблюдении двух неперенных условий: первое — централизация политической власти; второе — заинтересованность в нем элит, когда они начинают видеть в росте не угрозу, а источник обогащения и упрочения своих позиций. Но даже тогда рост все равно остается неустойчивым в краткосрочной и нежизнеспособным в долгосрочной перспективе. В конечном счете он обречен на затухание, хотя и может быть успешным на каких-то ограниченных интервалах времени. Почему?

Неустойчивый рост при «плохих» политических институтах нортянцы связывают с действием нескольких факторов. Во-первых, рост требует инноваций, то есть «созидательного разрушения», но оно чревато дестабилизацией политической системы, так что у элит есть веские причины его бояться и ограничивать¹². Во-вторых, переход к «хорошим» институтам может грозить им потерей рент (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 568). В-третьих, колоссальные богатства, накапливаемые элитами благодаря «плохим» институтам, создают для конкурирующих группировок мощные стимулы к перехвату политической власти, что провоцирует государственные перевороты, вооруженные конфликты, гражданские войны (Там же, 208)¹³.

Не менее важно, что при «плохих» политических институтах рост рано или поздно упирается в потолок. Пока он остается догоняющим, то может строиться на технологических заимствованиях из стран-лидеров (как это наблюдается, например, в современном Китае). Однако при приближении к фронтиру технологического прогресса он, как показывает пример СССР, замирает, так как страны

¹² «Боязнь созидательного разрушения — это главная причина, по которой рост уровня жизни, начиная с неолитической эпохи и до промышленной революции, не был устойчивым» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 252).

¹³ Подсчитано, что если в развитых странах крупные столкновения с применением силы возникали в среднем один раз в 60 лет, то в развивающихся один раз в 8 лет (Cox et al., 2016).

с такими институтами неспособны генерировать новые идеи сами. Причина все та же: отсутствие «хороших» политических институтов делает права собственности на идеи недостаточно защищенными, а это, в свою очередь, — из-за отсутствия необходимых стимулов — делает невозможными прорывные инновации на фронтире технологического прогресса.

Итоговый вывод: ключ к экономическому успеху — в «хороших» политических институтах, создаваемых заинтересованными в них элитами. Без таких институтов даже при самых благоприятных условиях рост всегда будет оставаться неустойчивым и конечным во времени.

Что можно сказать о таком аналитическом видении исторического процесса?

Нортианское представление о том, что появлению «хороших» экономических институтов всегда и везде предшествует появление «хороших» политических институтов, опровергается историческим опытом многих стран. Тайвань, Чили, Южная Корея сначала добивались экономического успеха и лишь затем реформировали свои политические системы. Непохоже, чтобы здесь существовала какая-либо универсальная закономерность. Разнообразие путей исторического развития слишком велико, чтобы укладываться в какую-либо унифицированную логическую схему¹⁴.

Рассуждениям нортианцев о нежизнеспособности «гибридных» институциональных режимов, сочетающих «плохое» с «хорошим», присуща странная хронологическая размытость. Каков количественный критерий, отделяющий жизнеспособные системы от нежизнеспособных? Об этом ничего не сообщается. Сосуществование в независимой Индии «хороших» политических институтов с «плохими» экономическими институтами в течение примерно полувека — это свидетельство устойчивости или свидетельство неустойчивости «гибридных» систем? А сосуществование в современном Китае «плохих»

¹⁴ Тезис панинституционалистов о том, что переход от «плохих» (авторитарных) к «хорошим» (демократическим) политическим институтам всегда и везде являлся сознательным выбором элит, также плохо согласуется с известными фактами. Из примерно 200 изученных случаев лишь в 6–8% из них демократизация была результатом сознательного выбора правящих групп, тогда как во всех остальных — результатом ошибок и просчетов, которые — при попытках сохранения «плохих» политических институтов — они совершали (Treisman, 2017).

политических институтов с «хорошими» экономическими институтами, тоже длящееся уже почти столетия? Непонятно также, как тезис о нежизнеспособности «гибридных» систем сочетается с признанием Аджемоглу и Робинсоном, что в реальной жизни мы никогда не наблюдаем ничего одностонно черного или одностонно белого, но всегда имеем дело с разными оттенками серого, то есть с различными конгломератами из «экстрактивных» и «инклюзивных» институтов.

Далеко не очевидно также, что низкий, но устойчивый рост всегда предпочтительнее высокого, но неустойчивого. Все зависит от конкретных количественных параметров того и другого. Норт и его соавторы предлагают судить о неустойчивости роста по доле лет, когда в той или иной стране наблюдались отрицательные темпы прироста ВВП (Норт, Уоллис, Вейнгаст, 2016, 45–47). По их подсчетам, в бедных странах она заметно выше, чем в богатых. Однако даже из их собственных выкладок следует, что несмотря на это *кумулятивный прирост ВВП* в бедных странах на протяжении второй половины XX в. был намного больше, чем в богатых. Этот разрыв был бы еще внушительнее, если бы деление стран на бедные и богатые производилось ими по состоянию на начало, а не на конец рассматриваемого периода (1950–2004 гг.).

Наконец, нет оснований полагать, что страны с «плохими» политическими институтами органически неспособны генерировать новые научные и технологические идеи и поэтому, достигнув технологического фронта, перестают расти. С середины XIX в. по середину XX в. Германия процветала при «плохих» политических институтах и пережила экономический коллапс при «хороших» (Веймарская республика). В конечном счете она рухнула не под грузом собственных проблем, а из-за военного поражения от другой «экстрактивной» системы – сталинского СССР. Германия (тогда – Пруссия) с середины XVIII в. имела сильное централизованное государство, одной из первых ввела всеобщее обязательное образование, создала самую эффективную бюрократическую систему, первой в мире приступила к разработке программ социального страхования (Boldrin et al., 2012). Еще важнее, что и при Бисмарке и при Гитлере она оставалась одним из лидеров мирового научно-технического прогресса, во многом опережая страны с «хорошими» политическими институтами. СССР точно так же в целом ряде областей науки и техники лидировал либо

шел наравне со странами Запада. Заявление Аджемоглу и Робинсона, что экономический рост в СССР никак не был связан с технологическим прогрессом, выглядит несколько эксцентрично (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 183). На наших глазах Китай все активнее переходит от заимствований к созданию новых оригинальных технологий и именно с этим многие исследователи связывают сегодня надежды на ускорение темпов мирового технологического прогресса, резко замедлившихся в последние десятилетия (Cowen, 2011).

С методологической точки зрения серьезный дефект нортианской объяснительной схемы связан с неразличением альтернативных паттернов экономического роста. В современной литературе помимо мальтузианского (основанного на росте населения) и шумпетерианского (основанного на непрерывном потоке инноваций) принято выделять еще один тип роста – смитианский. Он называется так, потому что его механизмы были подробно разобраны еще А. Смитом в «Богатстве народов»: разделение труда, расширение рынка, реаллокация ресурсов, накопление капитала. Упрощая, можно сказать, что если смитианский рост связан с приближением экономики к границе технологических возможностей, то шумпетерианский со сдвигом самой этой границы.

Экономическая история доиндустриального мира представляет собой чередование периодов мальтузианского и смитианского роста. «Смитианские» периоды Дж. Голдстоун обозначил термином «расцветы» (*efflorescences*)¹⁵ (Goldstone, 2002). Конечно, рост в периоды «расцвета» никогда не оставался чисто смитианским, но всегда включал отдельные шумпетерианские «вкрапления». Расширение рынка и углубление специализации стимулировали инновации, но их поток оставался слишком слабым и слишком непрочным, чтобы уровень жизни мог повышаться непрерывно. При отсутствии притока новых идей рост мог продолжаться только за счет дальнейшего распространения уже имевшихся «наилучших практик». Через несколько поколений, когда в действие вступали мальтузианские ограничители, он неизбежно «съедался» ростом населения¹⁶. Смитианский рост,

¹⁵ Первый такой эпизод датируется как минимум 3 тысячелетием до н.э.

¹⁶ Как показывает анализ, вероятность возникновения «расцветов» была выше: 1) в местах активного взаимодействия различных культур и идей; 2) в центрах международной торговли; 3) в периоды консолидации общества после серьезных социальных и политических потрясений. В то же время их почти никогда не на-

таким образом, был конечен во времени, но это не значит, что его исчерпание вызывалось вытеснением «хороших» политических институтов «плохими».

Хотя в периоды «расцвета» рост ВВП заметно ускорился, он все равно оставался слабым — с годовыми темпами не выше 0,5–1% (в расчете на душу населения еще меньше — 0,2–0,3%) и длился ограниченный отрезок времени (не более одного-двух столетий). После исчерпания задела инноваций он рано или поздно затухал, трансформируясь в стандартный мальтузианский рост (Goldstone, 2002)¹⁷. Когда нортианцы рассматривают экономический рост «вообще», они ставят фактический знак равенства между смитианским и шумпетерианским ростом. Но рост в Древнем Риме или Японии сёгуната Токугава — это не то же самое, что рост в Италии или Японии XXI в. Одно дело повышение душевых доходов на протяжении одного-двух столетий в два-три раза (безусловно, феноменальное достижение для доиндустриального мира) и другое дело их повышение за тот же период в 30, 50 или 100 раз. Шумпетерианский рост, начавшийся в Англии на рубеже XVIII–XIX вв., не идентичен смитианскому росту предшествующих тысячелетий. Предполагать, как это делают нортианцы, что у них одинаковые причины и одинаковые ограничения, нет оснований. Скажем, затухание смитианского роста чаще всего порождалось либо продолжающимся ростом населения, либо вступлением общества в полосу острых социальных и политических конфликтов. Однако для шумпетерианского роста ни то ни другое не представляет непреодолимого препятствия: даже после крупных военных или политических потрясений у современных обществ сохраняются шансы на быстрое возвращение на траекторию устойчивого роста.

По сути, панинституционализм пытается предложить одно объяснение для двух разных экономических феноменов. Но современный (шумпетерианский) рост нельзя объяснять теми же механизмами, которыми мог объясняться смитианский рост, хотя бы потому,

блюдалось в изолированных обществах, а также в периоды длительной социальной и политической стабильности, когда в социуме воцарялся конформизм, подкрепляемый обычаями и предпочтениями элит (Goldstone, 2002).

¹⁷ По прошествии времени потомки начинали ностальгически вспоминать об этих периодах как о минувших «золотых веках».

что доиндустриальная эпоха не знала такого явления как самоподдерживающийся поток новых научных и технологических идей.

Базовый исторический нарратив

Если транспонировать аналитическую схему, описанную в предыдущем разделе, на ход мировой экономической истории, мы получим базовый исторический нарратив, из которого исходит панинституционализм. Поскольку программа Норта/Аджемоглу строится на жесткой дихотомии «хорошего» и «плохого», нет ничего удивительного, что этому нарративу оказываются присущи выраженные манихейские черты.

По сути, вся история человечества делится в нем на два периода: первый, когда почти все было «плохо», и второй, когда местами стало «хорошо». Рубежом выступает английская Славная революция 1688 г., которую Норт и нортианцы считают поворотным пунктом всемирной истории. Без нее не было бы современного экономического роста, а без него мир оставался бы таким, каким он был на протяжении предшествующих тысячелетий.

Как уже упоминалось, уникальная констелляция интересов, сложившаяся среди английской элиты в конце XVII в., дала толчок формированию «хорошей» политической системы, где оказались представлены все влиятельные группы и где ни одна из них не имела явного перевеса над остальными. Возникновение «хороших» политических институтов создало условия для формирования «хороших» экономических институтов: права собственности впервые за всю историю человечества начали надежно защищаться, благодаря чему через три четверти века после Славной революции Англия вступила на путь индустриализации, став первопроходцем современного (шумпетерианского) экономического роста (Acemoglu, Johnson, Robinson, 2005, 393). С большим или меньшим запозданием за ней последовали другие страны, но устойчивого экономического роста удавалось добиваться только тем из них, кто решал пойти по пути создания «хороших» политических институтов (см. выше).

Однако более всего нортианский нарратив интересен не тем, как в нем описывается «второй» период с функционированием «хороших» институтов, а тем, как в нем изображается «первый» период

с тотальным господством «плохих» институтов. В этот начальный период защищенных прав собственности — за редчайшими исключениями — нигде не существовало. Это были тысячелетия абсолютного правового произвола: «До Англии XVII столетия экстрактивные институты на протяжении всей истории были нормой во всем мире» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 252). Страны той эпохи были внеправовыми сообществами: они либо вообще не имели прав собственности, либо имели их только фиктивно; действовавшие в них государства вели себя как настоящие хищники, заботясь только о наживе и не имея представления ни о каких формальных правилах или этических нормах; их правители являлись безжалостными эксплуататорами, отнесшимися к своим подданным как к покоренным вражеским племенам. Это был мир, населенный массой «забитых крестьян, которыми правил малочисленный, жестокий и тупой класс господ, отбиравший у них все сверх того, что было необходимо для пропитания, и тем самым уничтожавший любые стимулы к торговле, инвестициям и техническим усовершенствованиям» (Кларк, 2012, 210).

Естественно, в подобных условиях ни о каком экономическом росте не могло быть и речи. Хотя исключения изредка все же случались (Древняя Греция, республиканский Рим, итальянские города-государства эпохи Возрождения), они не меняли общей картины: «Общая черта доиндустриальных обществ, на которую указывают Дуглас Норт, Мансур Олсон и другие, заключается в том, что все эти общества являлись “хищническими государствами” и управлялись “оседлыми бандитами”, которые максимизировали свой доход за счет экономической эффективности» (Там же, 310).

Наглядным примером, к чему вело тотальное господство «плохих» институтов, может служить европейское Средневековье. В изображении Д. Аджемоглу его «портрет» выглядит так: «Рассмотрим эволюцию прав собственности в Европе в Средние века. <...> Отсутствие прав собственности для землевладельцев, купцов и протопромышленников было препятствием для экономического роста в ту эпоху. Поскольку в это время политические институты отдавали политическую власть в руки королей и наследственных монархий разного типа, эти права устанавливались в основном монархами. Хотя монархи имели все стимулы защищать свои собственные права собственности, они — на беду для экономического роста — в общем не защищали прав собственности никого другого. Напротив, монархи часто ис-

пользовали свою власть для экспроприации производителей, вводя произвольные налоги, отказываясь платить по своим долгам и распределяя производственные ресурсы общества своим сторонникам в обмен на экономические выгоды или политическую поддержку. Следовательно, в Средние века экономические институты давали мало стимулов для инвестирования в землю, физический и человеческий капитал или технологии и были неспособны поощрять экономический рост. Эти институты способствовали также тому, что монархи контролировали значительную часть экономических ресурсов общества, укрепляя свою политическую власть и продлевая жизнь такому политическому режиму. Однако XVII столетие стало свидетелем крупных изменений в экономических и политических институтах, проложивших дорогу установлению прав собственности и ограничению власти монархов» (Acemoglu, 2008, 2600)¹⁸.

Скорее всего, профессиональный историк-медиевист был бы сильно озадачен подобным описанием. Ведь все это говорится об обществах, которые были насквозь юридизированы и перенасыщены судами разного типа; которые страдали не столько от недостатка, сколько от избытка правовых регуляций; в которых все, включая правителей, были опутаны плотной сетью формальных ограничений. Но что поражает в этом нарративе, пожалуй, больше всего, так это полное отсутствие ссылок на работы историков. По-видимому, он представляется нортианцам настолько само собой разумеющимся, что исторические свидетельства были бы тут излишни.

Однако картина, которую рисуют многочисленные исследования по экономической истории и истории права, выглядит совершенно иначе. Обе составляющие нортианского нарратива — как представление о том, что средневековая Англия, подобно другим доиндустриальным обществам, была ареной «боев без правил», так и представление о том, что на рубеже XVII—XVIII вв. ее экономические институты пережили тотальную трансформацию, — не находят в них подтверждения. Так, права собственности существовали в средневековой Европе на протяжении столетий и были специфицированы до мельчайших подробностей; действовали развитые рынки земли, где активно продавались и покупались как крупные, так и мелкие участки;

¹⁸ В том же духе высказывается Б. Вейнгаст: «Средневековый мир был лишен <...> надежных прав собственности, защиты контрактов, верховенства права и отсутствия насилия» (Weingast, 2016, 191).

как минимум с Норманнских времен в Англии был возможен рыночный обмен любыми товарами и факторами производства, причем при его надежной защищенности; все сделки, независимо от социального статуса участников, регистрировались судами; монархи контролировали лишь небольшую долю богатства общества (как правило, менее 5%); в конце XVII столетия никаких резких изменений в экономических институтах не происходило; хотя в этот период власть английских монархов подверглась серьезным ограничениям, это не имело отношения ни к правам собственности, ни к экономическому росту (McCloskey, 2010, Ch. 34)¹⁹.

Историки практически единодушны в том, что с институциональной точки зрения Англия Средних веков была в целом чрезвычайно стабильным или, как говорили в старину, «благоустроенным» обществом. Если при оценке степени защищенности прав собственности использовать количественные критерии, применяемые сегодня международными экономическими организациями, то оказывается, что они были защищены в ней лучше, чем в современных развитых странах: «Средневековая Англия отличалась поразительной институциональной стабильностью. Большинство ее жителей могло не опасаться посягательств ни на свою личность, ни на собственность. Рынки товаров, труда, капитала и даже земли в целом были свободными. Собственно, если применять к средневековой Англии критерии, обычно используемые Международным валютным фондом и Всемирным банком при оценке того, насколько сильны экономические стимулы, то она получит намного более высокий рейтинг, чем все современные богатые экономики, включая и современную Англию» (Кларк, 2012, 213).

Тезис о радикальном переформатировании английских экономических институтов в течение «длинного» XVIII столетия (1688—1815 гг.) также не согласуется с фактами. Изменения, происходившие как до, так и после этого периода, были намного более значимыми (McCloskey, 2010). Как указывает известный британский историк Н. Крафтс, «в период Промышленной революции никаких явных улучшений в институтах не происходило» (Crafts, 2005, 532). О том же пишет историк права С. Дикин, отмечая, среди прочего, что

¹⁹ Исторические неточности в книге Аджемоглу и Робинсона подробно разбираются в работе (Арсланов, 2016).

«в Англии индустриализация предшествовала изменениям в правовой системе, тогда как во Франции и Германии соотношение было обратным» (Deakin, 2009, 26).

Что же в конечном счете стоит за этими квазиисторическими построениями нортианцев? Догадаться об этом нелегко, но можно. Скажем, Аджемоглу и Робинсон отождествляют институты доиндустриальной Европы с институтами, действовавшими на протяжении длительного времени в Эфиопии, где вся земля принадлежала императору и где он мог заменять или отбирать земельные участки у тех, кто ее обрабатывал, раз в два-три года или даже чаще: на их взгляд, имеется «множество черт сходства между политэкономическими системами Эфиопии и стран европейского абсолютизма» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 320). Сходным образом авторы «Насилия и социальных порядков» квалифицируют институциональное устройство средневековых европейских обществ как «патримониальную систему» (Норт, Уоллис, Вейнгайт, 2012, 92). Эти «проговорки» выдают скрытый отправной пункт нортианских представлений о логике мировой экономической истории.

Термин «патримониальная система» был введен М. Вебером и стал использоваться для обозначения типа правления, при котором вся экономика страны рассматривается как личное хозяйство правителя. В истории подобная система, когда все подданные и все ресурсы общества признаются имуществом властителя, нередко возникала на какой-то период времени после завоеваний кочевниками развитых земледельческих цивилизаций. Это были общества с минимальными правами собственности для частных лиц, но с фактически неограниченными правами собственности для правителей. Понятие «патримониальной системы» активно использовал Р. Пайпс при анализе истории российского государства (Пайпс, 2008); некоторые политологи описывают политические режимы современных африканских государств также как «неопатримониальные» (Eisenstadt, 1973; Bates, 1983; Kang, 2003). Однако в изображении нортианцев «патримониальными» оказываются практически все государства Древнего мира, Средневековья, Возрождения и раннего Нового времени.

Но в Западной Европе короли никогда не владели всей землей и уж тем более не «владели» всеми своими подданными. И рыцари и крестьяне были собственниками земли и активно занимались ее куплей-продажей, не говоря уже о других видах сделок, таких как

предоставление ее в залог или сдача в аренду. Идея, что правитель может быть реальным владельцем всех материальных ресурсов общества и всех своих подданных, была чужда не только странам Западной Европы, но также всем институционально стабильным («благоустроенным») обществам доиндустриального мира, включая, например, Китай или Японию. Но стоит отказаться от идеи тотальной «патримониальности» доиндустриальной эпохи, как нортианский исторический нарратив теряет какое-либо правдоподобие.

Инкарнация 1: Норт/Уоллис/Вейнгаст

По признанию самих Норта, Уоллиса и Вейнгаста, основная проблема, которой посвящена их книга, — это проблема организованного насилия, которое в длительной исторической перспективе предстает как наиболее распространенный и наиболее фундаментальный источник незащищенности прав собственности (Норт, Уоллис, Вейнгаст, 2012, 57).

Как разные общества переструктурировали стимулы для специалистов в области насилия, чтобы тем стал выгоден отказ от его применения или угроз его применения? Базовая интуиция, из которой исходят авторы «Насилия и социальных порядков», не лишена известного интеллектуального изящества. Очевидно, что продуктивная экономическая деятельность невозможна без ограничения насилия (без достижения хотя бы минимального социального порядка). Только в этом случае индивиды смогут надеяться на то, что плоды их усилий достанутся им, а не будут присвоены кем-то другим. Однако ограничивая насильственную конкуренцию, большинству человеческих сообществ приходилось одновременно ограничивать и ненасильственную (экономическую) конкуренцию. Одно автоматически тянуло за собой другое: ограничение рынка становилось неизбежным побочным продуктом ограничения потенциала насилия.

Почему так получалось? По мысли Норта, Уоллиса и Вейнгаста, все дело в том, что специалисты в области насилия будут готовы «сложить оружие», отказавшись от использования силы, лишь в том случае, если пообещать им за это достаточно большое вознаграждение. Его, в свою очередь, может обеспечить только передача под их контроль ценных ресурсов, способных выступать источником ренты:

«Систематическое создание ренты при помощи ограниченного доступа в естественном государстве — это не просто средство набить карманы членов господствующей коалиции; это также важнейшее средство контроля насилия» (Норт, Уоллис, Вейнгафт, 2011, 62). Только в этом случае специалисты в области насилия согласятся уважать привилегии друг друга, включая права собственности и доступ к прибыльным видам деятельности (Там же, 64).

В самом деле, если ренты достаточно велики, то каждый из них будет заинтересован в том, чтобы воздерживаться от применения силы (Там же, 65). Но если не ограничивать доступ к ценным ресурсам (земле, труду и капиталу) и ценным видам деятельности (предпринимательству, торговле), оставив его открытым для всех, то это приведет к рассеянию рент в процессе рыночной конкуренции. Тогда вознаграждать специалистов в области насилия за отказ от его применения будет не из чего, что станет подталкивать их ко все новым и новым раундам насильственных действий. Отсюда — потребность в создании и поддержании порядков *ограниченного доступа*. Это, по оценке Норта, Уоллиса и Вейнгафта, наиболее распространенный в мировой истории тип институционального устройства, который, ограничивая доступ к насилию (для элит), в то же самое время ограничивал доступ и к экономической деятельности (для не-элит). Можно сказать, что на протяжении тысячелетий успешное решение проблемы насилия автоматически блокировало успешное решение проблемы роста — по той банальной причине, что «создание ренты и ограничение доступа создают препятствия для экономического роста» (Там же, 419). По сути, функционирование порядков ограниченного доступа укладывается в формулу: «наличие общественного порядка + отсутствие устойчивого экономического роста».

Подход Норта, Уоллиса и Вейнгафта не ограничивается элементарной каузальной цепочкой «институты ==> стимулы ==> поведение», но вводит в нее еще одно важное промежуточное звено — организации. Институты в их трактовке задают стимулы к экономической и политической деятельности не напрямую, а всегда через посредничество создаваемых в их рамках организаций. Возможно, главный позитивный вклад «Насилия и социальных порядков» состоит как раз в том, что она предлагает взгляд на социально-экономическую историю через призму эволюции организаций.

Права на их создание и на руководство ими представляют для экономических агентов особую ценность, поскольку служат важнейшим генератором рент: «Наиболее ценная форма создания ренты для большинства обществ — это способность формировать организации» (Норт, Уоллис, Вейнгафт, 2011, 427). Как следствие, альтернативные социальные порядки различаются прежде всего тем, как они отстраивают доступ к формированию и использованию организаций. И поскольку организации обладают множеством измерений, можно ожидать, что разные типы социального порядка также будут отличаться друг от друга по многим функциональным характеристикам.

В этом контексте конструкция, разработанная Нортом, Уоллисом и Вейнгафтом, оказывается нацелена на то, чтобы дать ответы на три взаимосвязанных вопроса: 1) какова организационная специфика порядков ограниченного доступа; 2) какова организационная специфика порядков открытого доступа; 3) как возможен переход от первых ко вторым.

Порядок ограниченного доступа. Общая отличительная черта порядков ограниченного доступа — предоставление прав на формирование и использование организаций элитам (участникам господствующей коалиции) и непредоставление этих прав остальным членам общества (Там же, 47). Менее и более развитые естественные государства — «хрупкие», «базисные», «зрелые» — решают эту проблему по-разному, чем объясняются различия в механизмах их функционирования. (К хрупким естественным государствам Норт, Уоллис и Вейнгафт относят современные Афганистан и Сомали; к базисным — империю ацтеков и империю Каролингов; к зрелым — Англию и Францию XVI–XVIII вв.).

Все естественные государства характеризуются неспособностью решить задачу установления легальной монополии на насилие, так что их можно было бы называть «довеберийскими». Вследствие этого все они страдают от неустранимой, «генетически» присущей им незащищенности прав собственности (Там же, 54). Но хотя во всех естественных государствах контроль за применением насилия остается рассеянным (отсюда — постоянный риск вспышек группового насилия), степень такого контроля широко варьирует от одного типа к другому: в базисных естественных государствах он более консолидирован, чем в хрупких, а в зрелых — более консолидирован, чем в базисных.

Параллельно со степенью консолидации политической власти меняется и степень защищенности прав собственности. Благодаря их лучшей защите базисные естественные государства способны создавать более крупные общества, чем хрупкие, а зрелые — более крупные, чем базисные (Норт, Уоллис, Вейнгайт, 2011, 419). Институциональная и организационная сложность также возрастают по мере перехода от хрупких естественных государств к базисным, а от них — к зрелым. Но даже в самых продвинутых порядках ограниченного доступа права собственности все равно остаются размытыми и недостаточно защищенными.

В хрупких государствах все строится на личных отношениях, так что привилегиями по формированию организаций и, соответственно, источниками по извлечению ренты наделяются конкретные представители господствующей коалиции. В случае их ухода со сцены (вследствие смерти, утраты доверия правителя и т. д.) возглавляемые ими организации распадаются и ценные ресурсы перераспределяются в пользу других членов элиты. Кроме того, создаваемые в хрупких естественных государствах организации остаются крайне примитивными по дизайну: они лишены статуса юридического лица и функционируют по типу партнерств как объединение нескольких физических лиц.

В базисных государствах элитные взаимоотношения приобретают более безличный характер, так как источники ренты привязываются уже не столько к личностям, сколько к социальным позициям (титулам, званиям, должностям) членов господствующей коалиции. Соответственно, все большее число организаций приобретают «корпоративную идентичность» (статус юридического лица), что делает их значительно более стабильными и долговечными. Несмотря на это, такие организации все еще нельзя считать существующими бессрочно, поскольку любые сколько-нибудь серьезные внутриэлитные конфликты приводят к их исчезновению. При этом и в хрупких и в базисных естественных государствах все организации создаются и функционируют под патронажем и контролем политической власти: организаций, которые были бы независимы от государства, в них не существует (Там же, 120).

Зрелые естественные государства делают еще один шаг вперед по пути дальнейшего обезличивания внутриэлитных взаимоотношений: в них члены господствующей коалиции получают возможность соз-

давать не санкционированные государством частные организации (Норт, Уоллис, Вейнгаст, 2011, 107). Такие элитные организации безличны (имеют статус юридического лица) и могут существовать бессрочно, поскольку перестают зависеть от перипетий внутриэлитной борьбы. В результате в зрелых естественных государствах и количество, и размеры, и стабильность, и сложность действующих организаций оказываются значительно выше, чем в хрупких или базисных.

Важно, что движение по этому пути затрагивает все организации, включая самую главную из них — само государство. По мере перехода от менее развитых к более развитым формам ограниченного доступа оно также начинает обретать все большую безличность и бессрочность²⁰.

Этим объясняется, почему зрелые естественные государства отличаются намного большей стабильностью, чем хрупкие или базисные. Экзогенные изменения (в относительных ценах, демографии, технологиях) способны резко менять баланс интересов и сил между членами господствующей коалиции. В условиях хрупких и базисных естественных государств это будет с неизбежностью требовать пересмотра предыдущих внутриэлитных договоренностей, перераспределения ресурсов, замены одних организаций другими, провоцируя открытые конфликты и всплески насилия. В условиях зрелых естественных государств такая подстройка к меняющимся условиям осуществляется менее болезненно из-за большей автономии создаваемых элитами организаций как от государства, так и от других участников господствующей коалиции.

Порядок открытого доступа. Порядки открытого доступа, действующие в современных развитых странах, имеют принципиально иную институциональную и организационную природу, поскольку основываются на открытом входе в политику и экономику (Там же, 257).

²⁰ Параллельно с ростом организационной сложности происходит и рост институциональной сложности: в рамках хрупких естественных государств можно говорить лишь о зачатках права (Норт, Уоллис, Вейнгаст, 2011, 101); в базисных формируются развитые институты публичного права (Там же, 102); в зрелых к ним добавляются институты частного права (Там же, 146). По ходу этого процесса права собственности становятся постепенно более надежными, менее подверженными рискам ограничения или экспроприации, — в первую очередь, конечно, у элит, но отчасти также и у других социальных групп.

Во-первых, в них возникает «веберовское» государство с монополией на легитимное насилие, то есть контроль за применением насилия оказывается не рассеянным, а консолидированным: полиция и армия наделяются полномочиями использовать насилие при урегулировании конфликтов между всеми членами общества без исключения (Норт, Уоллис, Вейнгаст, 2011, 227). Ограничивая *насильственные* взаимодействия между людьми, они обеспечивают этим эффективную поддержку *ненасильственным* взаимодействиям между ними (Там же, 221). (При этом сами военные перестают быть независимыми или действовать по капризу политической власти, так как жестко ограничиваются существующими «правилами игры».) Отсюда — надежные гарантии прав собственности, которых не удастся обеспечить порядкам ограниченного доступа: «Экономическим организациям в порядках открытого доступа не надо участвовать в политике для отстаивания своих прав, обеспечения исполнения контрактов или защиты от экспроприации» (Там же, 205).

Во-вторых, в обществах открытого доступа государство функционирует как полностью обезличенный и бессрочно существующий организм.

В-третьих, в них реализуется принцип «верховенства права», так что права на вход в любые сферы деятельности и создание там новых организаций предоставляются всем членам общества, а не только элитам: «Все граждане получают возможность формировать экономические, политические, религиозные или социальные организации, призванные выполнять любые мыслимые функции» (Там же, 422). Эта возможность перестает быть привилегией и становится правом: «Безлично определенный доступ (права) к созданию организаций составляет центральную часть обществ открытого доступа» (Там же, 49). Вследствие этого число бессрочно существующих экономических и политических организаций в порядках открытого доступа оказывается во много раз больше, чем в порядках ограниченного доступа, не говоря уже о том, то они становятся значительно крупнее по размерам и значительно сложнее по дизайну.

В-четвертых, порядки открытого доступа поддерживают высоко конкурентные экономические и политические рынки, так что хотя процесс поиска ренты и не исчезает полностью, но приобретает совершенно иную направленность (Там же, 422). Генерируемые в них ренты оказываются краткосрочными, а не долгосрочными, быстро

подвергаясь эрозии под действием сил конкуренции. Не менее важно, что основным источником рент становятся не искусственно вводимые государством ограничения на занятие определенными видами деятельности, а новые технологические и организационные идеи.

В-пятых, конкуренция, постоянно поддерживаемая на экономических и политических рынках, делает общества открытого доступа более устойчивыми за счет большей способности приспосабливаться к переменам (Норт, Уоллис, Вейнгаст, 2011, 54). Процесс принятия решений в них децентрализован, то есть рассредоточен по отдельным организациям, что позволяет быстрее находить более эффективные решения. Кроме того, конкуренция обеспечивает защиту от рентоориентированного поведения влиятельных групп: изменения баланса групповых интересов протекают в них без угрозы стабильности, как это происходит в обществах ограниченного доступа. Это позволяет поддерживать в порядках открытого доступа устойчивый экономический рост (без резких падений и длительных стагнаций) – в отличие от порядков ограниченного доступа, где рост, даже если он возникает, остается всегда неустойчивым, с резкими колебаниями вверх и вниз.

Наконец, и это, возможно, главное, «наиболее важной особенностью порядков открытого доступа является трансформация от общества, основанного на элитах, к обществу, основанному на массах граждан» (Там же, 215). Государство становится подотчетно обществу и начинает выражать его интересы.

Проблема перехода. Каковы механизмы перехода от порядка ограниченного к порядку открытого доступа, когда и почему он происходит? Это критически важный для всей конструкции Норта/Уоллиса/Вейнгаста вопрос. По их мнению, впервые такой переход был осуществлен Великобританией в первой половине XIX в. Его они считают событием, абсолютно беспрецедентным в мировой истории: «Ничего подобного в мире еще не было» (Там же, 427). За Великобританией вскоре последовали другие страны Запада. Поэтому авторы «Насилия и социальных порядков» иначе, чем большинство историков экономики, датируют начало современного (шумпетерианского) экономического роста: они связывают его не с начавшейся в Англии во второй половине XVIII в. Промышленной революцией, а с организационной революцией, имевшей место в первой половине XIX в.: «Критический период для осуществления действительно-

го перехода на Западе наступил в XIX в., когда политические и экономические организации приблизились к режиму открытого доступа, это привело к трансформации западных обществ» (Норт, Уоллис, Вейнгаст, 2011, 406).

Как уже упоминалось, сам переход к обществам открытого доступа описывается Нортом, Уоллисом и Вейнгастом как сугубо внутри-элитное дело. У этого процесса они выделяют две стороны: возможность и желательность. Возможность возникает тогда, когда в зрелом естественном государстве формируются три «пороговых» условия: 1) верховенство права для элиты (равный доступ к справедливому суду для всех ее членов); 2) бессрочно существующее государство; 3) консолидированный контроль над вооруженными силами²¹. Возможность превращается в действительность, когда элиты решают, что им выгодно конвертировать личные привилегии в безличные права. Цель такой конвертации — обеспечить максимально возможную степень стабильности и защищенности их прав собственности, недостижимую в условиях естественных государств.

В естественных государствах главная опасность для элит исходит от других участников господствующей коалиции, поскольку любое сколько-нибудь значительное изменение баланса сил и интересов оборачивается перераспределением ресурсов и привилегий (Там же, 323). Переход к обществу открытого доступа начинается тогда, когда элиты осознают, что их интересы будут лучше защищены от внутриэлитной борьбы, если конвертировать личные прерогативы во всеобщие права (Там же, 324). Во-первых, в этом случае их интересы получают дополнительную поддержку в виде правовых гарантий и, во-вторых, их становится можно отстаивать путем создания новых организаций: «Разрешение внутриэлитных конфликтов, а также создание условий для того, чтобы права элит были обеспечены и гарантированы от любых конфликтов, в конечном счете привели к институционализации открытого доступа в экономике и политике» (Там же, 408).

Этой же логикой объясняется последующий процесс наделения правами более широких слоев общества: «Когда элиты создают больший открытый доступ к политическим и экономическим организациям для самих себя, иногда у них возникают стимулы расширить

²¹ «Пороговые условия являются необходимыми, но недостаточными условиями перехода от естественного государства к порядку открытого доступа» (Норт, Уоллис, Вейнгаст, 2011, 322).

доступ в некоторых пограничных областях и для не принадлежащего к элите населения» (Норт, Уоллис, Вейнгафт, 2011, 75). Привлечение на свою сторону неэлитных групп становится для них способом продвижения собственных интересов: «Политические элиты <...> имели все основания стремиться к распространению избирательных прав на широкие массы — это давало им возможность получить электро-альные преимущества» (Там же, 410).

У всего этого есть еще одно важное следствие. Если в естественных государствах каждая фракция элиты была вправе создавать организации только в строго ограниченной сфере, то теперь все ее фракции получают равные права на создание любых организаций в любых видах деятельности без каких-либо ограничений: «Всем элитам дается право формировать организации, независимо от того, являются ли эти организации политическими, экономическими или общественными» (Там же, 77). Именно в этом, по мнению авторов «Насилия и социальных порядков», кроется главный смысл перехода от ограниченного к открытому доступу. Прямым следствием конвертации элитных привилегий во всеобщие права становится взрывной рост числа экономических и политических организаций с корпоративной идентичностью: «Обеспечение конкуренции в условиях открытого доступа — это фундаментальное требование для государства, в политике оно реализуется посредством создания организованных политических партий, а в экономике — посредством создания организованных бизнес-единиц» (Там же, 415). Переход к порядку открытого доступа становится необратимым, когда число частных организаций (как экономических, так и политических), полностью независимых от государства, начинает расти экспоненциально. Именно поэтому Норт, Уоллис и Вейнгафт датируют его завершение серединой XIX в.

Как можно видеть из этого сжатого изложения, предложенная в «Насилии и социальных порядках» концепция лежит целиком в русле панинституционализма, демонстрируя типичные для него методологические и фактологические смещения. Несмотря на подзаголовок «концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества», она строится почти исключительно на материале по трем странам — Англии, Франции и США. В предметном указателе к книге не находится места для африканских стран, арабского мира, Китая, империи Великих Моголов в Индии, Османской им-

перии, Германии, Греции, Ирана, Италии, Нидерландов, России (кроме СССР), Швеции, Японии и т.д. (McCloskey, 2016a). Создается впечатление, что игнорируется история как раз тех стран, чей опыт плохо укладывается в объяснительную схему Норта/Уоллиса/Вейнгаста. Стоит расширить границы исторического поля, как генерализации, на которых она держится, повисают в воздухе. Институты, которые преподносятся авторами как уникальные, беспрецедентные, присущие только обществам открытого доступа, при более внимательном рассмотрении предстают как достаточно рядовые и встречающиеся повсеместно даже в обществах ограниченного доступа.

Так, Д. Макклоски показала, что условия, которые Норт, Уоллис и Вейнгаст именуют «пороговыми», существовали во множестве самых разных стран самых разных эпох — от древнего Израиля эпохи судей и республиканского Рима до сунского Китая и Японии сёгуната Токугава²². Почему же только Англии на рубеже XVIII–XIX вв. удалось протиснуться в этот «дверной проем» (doorstep conditions)? У одного из авторов «Насилия и социальных порядков», Б. Вейнгаста, не нашлось аргументов, чтобы как-то возразить на этот комментарий Макклоски, и он ограничился рассуждениями в том духе, что общества, где были достигнуты «пороговые» условия, встречались в истории все же не так часто, как общества, где они достигнуты не были (Weingast, 2016). Но такое признание равносильно сдаче позиций: если во многих десятках обществ, известных истории, существовали «пороговые» условия для перехода к открытому доступу, то что же такого особенного было в странах Западной Европы (если быть точнее — в Великобритании) конца XVIII — начала XIX вв., что они совершили переход, который на протяжении столетий не удавался другим странам со сходными институциональными режимами?

Ссылка на то, что он отвечал интересам тогдашних элит, ничего не объясняет, лишь отодвигая проблему на шаг назад. Благодаря какому уникальному стечению обстоятельств этот переход оказался им почему-то выгоден, тогда как во всех предыдущих случаях элиты на него не шли, считая, что могут от этого только проиграть? И консолидированный контроль над вооруженными силами, и бессрочно действующее государство, и верховенство права для элит существо-

²² Сами авторы «Насилия и социальных порядков» упоминают только о трех таких случаях — античной Греции, республиканском Риме и городах-государствах Северной Италии эпохи Возрождения (Норт, Уоллис, Вейнгаст, 2016, 266).

вали во всех институционально стабильных доиндустриальных обществах. По всем этим параметрам они мало чем отличались от Великобритании конца XVIII — начала XIX вв. Аргументация Норта/Уоллиса/Вейнгаста не предлагает никакого специфического ингредиента, который наличествовал бы в ней, но отсутствовал бы во всех других обществах, достигавших «пороговых» условий. В результате причины перехода от ограниченного доступа к открытому так и остаются невыясненными.

Как и большинство панинституционалистов, Норт, Уоллис и Вейнгаст демонстрируют стойкую приверженность идее правового централизма, предполагающей, что создавать и защищать права собственности может только государство. Это очевидная историческая aberrация (см. выше). Его роль в установлении и защите прав собственности гораздо менее однозначна, чем это следует из их упрощенного подхода: трудно сказать, каких случаев история человечества насчитывает больше — когда государство выступало «другом» или когда оно выступало «врагом» частной собственности. Во всяком случае применительно к XX в. (не исключая и общества открытого доступа) верно скорее второе.

Пожалуй, больше всего в классификации Норта/Уоллиса/Вейнгаста поражает безразмерность ее ячеек: так, под рубрику естественных государств подпадают современное Сомали и сталинский СССР, чавесовская Венесуэла и бисмарковская Германия, империя Великих Моголов и революционная Франция, Древняя Греция и Золотая Орда. Неужели у этих обществ институциональных сходств больше, чем отличий? Вообще если залог экономического успеха — гарантии прав частной собственности, то странно помещать в одну группу страны, где она полностью отрицалась (СССР, маоистский Китай, Куба) и где она почиталась фундаментом общественного устройства (Западная Европа XVI–XVIII вв.).

Крайне мало дает эта классификация и для понимания экономических различий в современном мире. Все сводится к тому, что в развитых странах темпы экономического роста хотя и ниже, но более устойчивы, чем в развивающихся. Но тем самым в тени остается главное — что современный (шумпетерианский) рост равно возможен в обществах как открытого, так и ограниченного доступа. Получается, что между ограниченным доступом и шумпетерианским ростом нет врожденной несовместимости! Но это означает, что если какая-то

страна стагнирует, то, скорее всего, это связано не с институтами ограниченного доступа как таковыми, а с какими-то иными, специфическими для нее факторами.

Документальным опровержением подхода Норта/Уоллиса/Вейнгаста служит опыт Веймарской Германии. По всем нортианским критериям в ней существовал порядок открытого доступа, но это не спасло ее от экономической катастрофы и не сделало ее «бессрочно существующим государством» (Reckendrees, 2015). Ее пример показывает, что открытого входа на экономические и политические рынки в сочетании с монополией на легитимное насилие недостаточно для достижения социальной стабильности и экономического роста. Пусть в меньшей мере, но порядки открытого доступа подвержены тем же рискам, что и порядки ограниченного доступа.

В схему, представленную в «Насилии и социальных порядках», плохо вписывается опыт СССР и нацистской Германии. В них однозначно существовали безличное государство и консолидированный контроль над вооруженными силами, хотя наличие единых «правил игры» для членов элиты не столь очевидно и может оспариваться. Однако мощь централизованного государства использовалась в них не для поощрения, а для подавления экономической и политической конкуренции, причем в масштабах, немыслимых для «традиционных» порядков ограниченного доступа. Нелишне также заметить, что само появление подобных обществ стало возможно только после того, как в других частях мира возникли общества открытого доступа.

Рассуждения Норта/Уоллиса/Вейнгаста о масштабах государственного контроля над экономикой в обществах ограниченного и открытого доступа тенденциозны и внутренне противоречивы. С одной стороны, нам сообщают, что в порядках открытого доступа большая часть поведения и формирования интересов находится вне государственного контроля и что для них характерен меньший регулятивный контроль (Норт, Уоллис, Вейнгаст, 2011, 72, 436), тогда как в порядках ограниченного доступа рынки жестко контролируются (Там же, 235). С другой, заявляют, что неотъемлемой чертой обществ открытого доступа является рост государства и что «большое правительство» для них норма, а не отклонение (Там же, 206, 222)²³.

²³ По мнению Норта и его соавторов, так происходит по нескольким причинам (Норт, Уоллис, Вейнгаст, 2016, 222–226). Во-первых, чтобы снизить риски, связанные с превратностями рынка, возникает потребность в масштабных програм-

При этом само «большое правительство» описывается Нортм и его соавторами как меньшее из зол — как средство по предотвращению еще «более массового перераспределения» (Норт, Уоллис, Вейнгастр, 2011, 224). Но не кажется ли им, что перераспределение 60—70% ВВП уже само по себе является настолько «массовым», что дальше уже практически некуда?

Более того, возникают сомнения, сохраняется ли все еще «открытый доступ» в современных развитых экономиках, где треть профессий, как в США, подлежит лицензированию; где налоги в десятки раз выше, чем были при «ограниченном доступе»; где через государственный бюджет перераспределяется больше половины ВВП и где, как, например, в США, массив регулятивных документов только на федеральном уровне ежегодно прирастает на 85 тыс. страниц! Мысля в логике Норта/Уоллиса/Вейнгастера, следовало бы признать, что в современных развитых странах экономический рост сохраняется не столько благодаря, сколько вопреки существующим в них регулятивным режимам, которые по масштабам подавления конкуренции государством намного превосходят все то, что было известно, по крайней мере, «зрелым» естественным государствам.

Установление антиконкурентных экономических институтов в обществах ограниченного доступа Норт, Уоллис и Вейнгастр приписывают сознательным действиям элит, прежде всего — решениям правителей. Зная о большей эффективности конкурентных институтов, они тем не менее делают выбор в пользу их антиподов. Но это не единственно возможный сценарий. Вполне возможно, что формирование антиконкурентных институтов происходит спонтанно, а элиты, обнаружив эти институты уже в готовом виде, просто ставят их на службу своим интересам. Что правдоподобнее — политические элиты учреждают ремесленные и купеческие гильдии или они возникают сами по себе и элиты только берут их под свой контроль? Если верно второе, то тогда элиты естественных государств переста-

мах социального страхования. Во-вторых, учет интересов более многочисленных групп населения расширяет диапазон производимых государством общественных благ. В-третьих, чтобы ограничить влияние групп со специальными интересами, требуется сложно организованная и, следовательно, дорогостоящая государственная машина с широким разделением властей и множественностью точек вето. В-четвертых, из-за подключения к политическому процессу больших масс граждан (инклюзивность) становится невозможно избежать той или иной формы перераспределения доходов.

ют быть гиперрациональными существами, какими они предстают в первом случае. Но этот более реалистичный сценарий остается вне поля зрения авторов «Насилия и социальных порядков».

Вопреки тому, как описывают ситуацию Норт и его соавторы, в большинстве доиндустриальных обществ значительный массив ресурсов не принадлежал ни правителям, ни элитам. Но тогда поддержание в таких «неэлитных» секторах экономики рентных институтов оказывается в явном противоречии с собственными интересами элит: установив там конкурентный порядок, они могли бы, во-первых, рассчитывать на больший объем налоговых поступлений и, во-вторых, не опасаться превращения получателей рент в сильных политических игроков. Почему же элиты естественных государств не протяжении столетий вели себя так нерационально? В «Насилии и социальных порядках» этот вопрос не ставится и не обсуждается.

Во многих случаях аргументация Норта и его соавторов грешит двусмысленностью. Так, один и тот же эпитет «безличный» используется ими при описании рынков, при классификации организаций и при характеристике правовых режимов. В первом случае речь идет об обмене между незнакомыми лицами, во втором — об организациях с корпоративной идентичностью (со статусом юридического лица), в третьем — о равенстве всех граждан перед законом. Обозначение этих явлений одним и тем же термином создает ложное впечатление, будто между ними существует жесткая логическая связь: переход к открытому доступу означает одновременно и переход от личного обмена к безличному, и переход от партнерских организаций к корпоративным, и переход от неравенства прав к их равенству. Но из этого перечня только последний третий пункт является действительно уникальным достоянием обществ, которые Норт с соавторами называют порядками открытого доступа.

Во-первых, и безличный обмен, и организации со статусом юридического лица были известны еще задолго до начала XIX в. Во-вторых, безличный обмен есть функция от размеров рынка, а что касается корпоративной идентичности, то это не более чем организационное нововведение, которое могло ускорить процесс шумпетерианского «созидательного разрушения», но не могло стать его спусковым механизмом. Попытка авторов «Насилия и социальных порядков» вывести индустриализацию из корпоратизации выглядит историческим анахронизмом: Закон о корпорациях был принят

в Англии лишь в середине 1844 г., когда индустриализация уже шла в ней полным ходом. Но и до его принятия при сильной затрудненности процесса образования корпораций деловые люди не чувствовали себя ущемленными, используя иные организационные формы. Не менее важно, что в некоторых других европейских странах современное законодательство о корпорациях было принято на несколько десятилетий раньше, чем в Англии, но это не помогло им запустить маховик индустриализации первыми.

Инкарнация 2: Аджемоглу/Робинсон

Объяснительная схема Аджемоглу и Робинсона отличается большей прямолинейностью и меньшей детализацией по сравнению с объяснительной схемой Норта, Уоллиса и Вейнгаста. Во-первых, в ней отсутствует промежуточное звено в виде организаций (институты влияют на стимулы напрямую) и, во-вторых, она ограничивается простейшим делением институтов на «хорошие» и «плохие». В то же время в отличие от авторов «Насилия и социальных порядков», погруженных в бесконечные классификации, Аджемоглу и Робинсон пытаются строить анализ на более строгом теоретическом фундаменте. Более тесная привязка к формальной экономической теории — это, пожалуй, главное, что они добавляют к общим для панинституционализма представлениям, обсуждавшимся в предыдущих разделах. Условно в картине, которую они рисуют, можно выделить два аспекта: анализ в статике и анализ в динамике.

Статика. В определении характеристик «хороших» и «плохих» институтов Аджемоглу и Робинсон малооригинальны. «Хорошие» (инклюзивные) экономические институты обеспечивают защиту прав собственности и относительно равный доступ к ресурсам для большей части общества (Acemoglu et al., 2005, 395). Соответственно, «плохие» (экстрактивные) экономические институты либо не обеспечивают защиту прав собственности вообще, либо обеспечивают ее только для избранных. Исходя из этого инклюзивные политические институты, соответствующие инклюзивным экономическим институтам, должны: 1) обеспечивать систему сдержек и противовесов по отношению к тем, в чьих руках находится политическая власть; 2) опираться на поддержку широких слоев общества; 3) накладывать жест-

кие ограничения на возможность извлечения ренты носителями власти, так как в противном случае те начнут отдавать предпочтение экстрактивным экономическим институтам, которые такую возможность им предоставят.

Таким образом, участие большей части общества в экономике и политике служит отличительной чертой «хороших», тогда как неучастие — отличительной чертой «плохих» институтов: «Центральный пункт нашей теории — это связь между инклюзивными экономическими и политическими институтами и благосостоянием. Инклюзивные экономические институты, обеспечивающие права собственности, создающие равное игровое поле и привлекающие инвестиции в новые технологии и знания, более благоприятствуют экономическому росту, чем экстрактивные экономические институты, которые приводят к изъятию ресурсов у большинства в пользу меньшинства и не могут обеспечить права собственности или дать стимулы для экономической деятельности» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 567).

Отправным пунктом анализа Аджемоглу и Робинсона является представление о двоякой роли экономических институтов, от которых зависит не только эффективность экономики, но структура распределения доходов в ней (частично мы уже говорили об этом выше). Отсюда следует, что формирование экономических институтов — это поле непрекращающихся социальных конфликтов (потенциальных или реальных), поскольку разные группы, движимые корыстными интересами, склонны отдавать предпочтение разным типам институтов (конкретно тем, что обещают каждой из них максимальный выигрыш): «Распределение ресурсов в обществе является неизбежно конфликтным и поэтому политическим решением» (Там же, 394).

Но, как мы знаем, участие в процессе выбора экономических институтов доступно не всем, а лишь тем, в чьих руках находится политическая власть: в реальности только у них есть возможность реализовывать свои институциональные предпочтения. Естественно ожидать, что делая этот выбор, они предпочтут не те институты, которые обеспечат максимальный выигрыш всему обществу, а те, которые обеспечат его им. Иначе говоря, их решения будут направляться прежде всего распределительными соображениями, а не соображениями эффективности. Они могут избегать вводить «хорошие» экономические институты из опасения, что те станут обогащать их

политических конкурентов, а это будет грозить им потерей власти и связанных с нею рент.

Но тогда на следующем шаге возникает вопрос: от чего зависит распределение самой политической власти? Это смысловой центр всей конструкции. Аджемоглу и его соавторы выделяют здесь два аспекта: политическую власть де-юре и политическую власть де-факто (Acemoglu et al., 2005). Политическая власть де-юре исходит от действующих политических институтов (таких как конституция, избирательное право и т.д.): они определяют, во-первых, ее пределы и, во-вторых, в чьих руках она может находиться. Что касается политической власти де-факто, то обладание ею зависит от двух факторов: от успешности разных групп при решении проблемы коллективного действия (ограничения «безбилетного» поведения своих членов) и от имеющихся в их распоряжении экономических ресурсов. Чем сплоченнее группа и чем больше у нее ресурсов, тем она политически сильнее.

На выходе получаем замкнутую динамическую систему: с одной стороны, распределение ресурсов определяется характером экономических институтов, но, с другой, оно само определяет характер политической власти. В конечном счете состояние подобной системы будет задаваться двумя основными параметрами — политическими институтами и распределением ресурсов²⁴. Оба они, как правило, не поддаются быстрым изменениям. Отсюда — высокая инерционность любой институциональной системы. Политические институты действуют как мощный стабилизатор: укрепляя экономические позиции тех, в чьих руках находится политическая власть, они обеспечивают тем самым свое собственное устойчивое воспроизводство, поскольку носителям власти оказывается выгодно их сохранять в неприкосновенности. В отличие от политической власти де-юре политическая власть де-факто менее стабильна, так как находится в зависимости от структуры распределения богатства. Вследствие этого шоки, связанные с колебаниями относительных цен на факторы производства, расширением рынков или появлением новых технологий, могут менять баланс политических сил в обществе, вызывая изме-

²⁴ «Хотя экономические институты являются важным фактором, обуславливающим экономические результаты, сами по себе они являются эндогенными и определяются политическими институтами и распределением ресурсов общества» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 392).

нения сначала политических, а затем и экономических институтов (Acemoglu et al., 392—393). Скажем, до XVII в. английские купцы и землевладельцы обладали недостаточными экономическими ресурсами, чтобы бросить вызов королевской власти, но когда их капиталы достаточно возросли, они смогли ограничить власть короля и установить парламентское правление, ставшее эффективным проводником их интересов.

Но почему в подобных ситуациях нельзя ограничиться перераспределением политической власти де-факто, оставив политические институты (то есть распределение политической власти де-юре) без изменений? Ответ, который дают Аджемоглу и его соавторы, сводится к тому, что в политической сфере невозможны достоверные обязательства (*credible commitments*). Причина — отсутствие здесь третьей стороны, которая выступала бы в роли беспристрастного арбитра и могла бы гарантировать твердое исполнение участниками взятых на себя обязательств, как это происходит при заключении частных контрактов²⁵. Обязательства, которые может давать государство, недостоверны, потому что над ним самим нет никакого стоящего выше него авторитета.

Этим обстоятельством Аджемоглу и его соавторы объясняют, почему на протяжении большей части мировой истории преобладали экономически неэффективные институты. Гипотетически возможны два варианта преодоления этой неэффективности. Первый: правитель обещает уважать права собственности и демократические свободы, но сохраняет политическую власть де-юре за собой. Однако такое обещание является недостоверным: правитель в любой момент может взять его обратно, приступив к конфискациям и преследованию своих политических оппонентов. Второй: правитель уступает политическую власть де-юре в обмен на обещание групп, заинтересованных в установлении эффективных экономических институтов, выплатить ему после ухода обговоренную компенсацию. Но такое обещание тоже недостоверно: зачем этим группам что-то платить после того, как власть перейдет к ним? Ни одна из сторон не может гарантировать *ex ante*, что будет воздерживаться от действий, которые будут отвечать ее интересам *ex post*. В теоретических терминах

²⁵ Это среди прочего исключает возможность заключения «общественного договора», что бы по этому поводу ни утверждали его теоретики (Acemoglu et al., 2005, 429).

Аджемоглу и его соавторы обозначают эту ситуацию как «невозможность политической теоремы Коуза» (Acemoglu et al., 2005, 422)²⁶.

В результате вероятность появления «хороших» институтов оказывается исчезающе мала. Но ее все же нельзя считать нулевой. Чтобы они возникли, интересы группы, пришедшей к власти, должны совпасть с интересами общества: она должна выигрывать от замены «плохих» институтов «хорошими» и стремиться к ней. Понятно, что такая группа должна накопить достаточно ресурсов, чтобы суметь конвертировать политическую власть де-факто в политическую власть де-юре. Но есть еще одно критически важное условие: коалиция должна быть достаточно широкой, чтобы ее интересы не расходились с интересами общества. «Широкая коалиция» — лейтмотив книги Аджемоглу и Робинсона. Это понятие, на котором строится вся механика перехода от «плохих» институтов к «хорошим», как они ее себе представляют.

Именно по такому сценарию, по их мнению, развивались события в Англии XVI–XVII вв. С одной стороны, благодаря расцвету трансатлантической торговли, пришедшемуся на этот период, английские купцы и землевладельцы накопили достаточно богатства, чтобы суметь бросить вызов королю. С другой, их коалиция была достаточно широкой, чтобы оказаться заинтересованной в обеспечении гарантий прав собственности, то есть во введении «хороших» экономических институтов²⁷. Так впервые в истории совершился переход от экстрактивной к инклюзивной институциональной системе.

Динамика. До сих пор речь шла о ситуации в статике. А как она выглядит в динамике?

Согласно Аджемоглу и Робинсону, институциональная эволюция протекает в «рваном» ритме с чередованием медленных микро-

²⁶ Политическая теорема Коуза, как она формулируется Аджемоглу и его соавторами, предполагает, что экономически неэффективные институты должны быть нежизнеспособны, так как сделки по принципу «введение лучшего института в обмен на выплату компенсации тем, кому выгоден существующий худший институт», будут быстро вести к их исчезновению. В подобных условиях выживали бы только экономически эффективные институты. Но поскольку в реальном мире политическая теорема Коуза не выполняется, неэффективные институты оказываются устойчивыми и могут сохраняться сколь угодно долго.

²⁷ «Поскольку многие из членов парламента занимались торговлей и производством, в их интересах было обеспечить соблюдение прав собственности» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 262).

пических подвижек и быстрых крупномасштабных разворотов. По их терминологии, она представляет собой сочетание постепенного «институционального дрейфа» с резкими изменениями на «критических развилках» (critical junctions) (Аджемоглу, Робинсон, 2016). В первом случае речь идет о мелких пошаговых корректировках институциональной системы вслед за колебаниями в балансе политической власти де-факто, которые, свою очередь, вызываются изменениями в структуре распределения экономических ресурсов. Во втором — о переломных исторических событиях, взрывающих статус-кво и открывающих новые экономические (расширение рынков, изменения относительных цен) или политические (смерть лидера, военное поражение) возможности. Подобные события вызывают настолько радикальное переформатирование стимулов, что становится возможен «прыжок» с прежней траектории институционального развития на новую: «Крупное событие или стечение обстоятельств может разрушить сложившийся баланс экономических и политических сил и стать точкой перелома на пути институционального развития страны» (Там же, 88).

Однако реакция общества на переломные события не предопределена и может зависеть от мельчайших различий, порожденных предыдущим институциональным дрейфом: «Появившиеся в результате институционального дрейфа различия начинают влиять на то, как общество реагирует на политические и экономические вызовы. И в этот момент небольшие отличия становятся судьбоносными. <...> История здесь — ключевой фактор, потому что именно исторический процесс, благодаря институциональному дрейфу, создает различия, которые станут решающими в очередной критический момент» (Там же, 152, 570). Если говорить более предметно, то все зависит от того, какой элитной группе в критический момент удастся перехватить власть: широкая коалиция может запустить процесс перехода к инклюзивным институтам, узкая же будет сохранять приверженность экстрактивным институтам: «На какой путь институционального развития встанет страна, зависит <...> от того, какая из враждующих групп одержит верх, какие группы смогут составить коалицию с другими, какие политические лидеры смогут повернуть ситуацию в свою пользу» (Там же, 2016, 91).

Иллюстрацией может служить разная реакция на эпидемию чумы (Черной смерти) в XV в.: в странах Западной Европы обезлюжива-

ние привело к расширению прав крестьян, в Восточной — к их вторичному закреплению. Аналогичным образом расцвет трансатлантической торговли в XVI—XVII вв. привел в Испании, Португалии и Франции, где она оставалась монополией государства, к укреплению экстрактивных институтов, а в Англии, где ею занимались индивиды и небольшие партнерства, к рождению инклюзивных институтов.

После прохождения переломных точек институциональная эволюция вновь входит в накатанную колею, принимая форму медленного пошагового дрейфа. Однако общества, отреагировавшие на них по-разному, начинают после этого двигаться по отдаляющимся друг от друга траекториям: «Хотя институциональный дрейф — это всегда медленные и кажущиеся незначительными изменения, его взаимодействие с точками перелома приводит к институциональному расхождению, и это расхождение создает впоследствии все большие различия в институтах, на которые со временем повлияет следующая точка перелома» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 570). Конечный вывод, который делают отсюда Аджемоглу и Робинсон, состоит в том, что путь развития не является исторически детерминированным и зависит от стечения обстоятельств (конstellации сил и интересов) на критических развилках (Там же, 153).

Как и конструкция Норта/Уоллиса/Вейнгаста, конструкция Аджемоглу/Робинсона строится на достаточно шатком концептуальном и фактологическом фундаменте.

Обратимся к ключевой для них дихотомии экстрактивных и инклюзивных институтов, где первые обозначают, по существу, «все плохое», а вторые — «все хорошее». С точки зрения элементарной логики она выглядит достаточно неуклюже. Казалось бы, куда логичнее было бы противопоставить инклюзивным институтам эксклюзивные институты, а экстрактивным институтам — креативные институты. Но Аджемоглу и Робинсон игнорируют явную алогичность своей типологии, что, возможно, не случайно. Подчеркнем, что это не просто вопрос семантики, потому что у него есть важные содержательные следствия. Скажем, попытайтесь они оперировать дихотомией инклюзивность/эксклюзивность, как сразу бы выявилась вся искусственность их конструкции, поскольку множество важнейших «хороших» институтов, необходимых для успешного экономического роста, являются эксклюзивными, а не инклюзивными.

Так, частная собственность — это, можно сказать, квинтэссенция неинклюзивности, самый неинклюзивный институт, какой можно себе представить, так как доступ к ресурсу оказывается открыт только одному человеку — собственнику и закрыт для всех остальных. Общедоступная собственность (common property) — более инклюзивный институт, чем частная (private property); рабочие кооперативы — более инклюзивный институт, чем частные фирмы; прямая демократия — более инклюзивный институт, чем представительная. Однако в современном мире ареал их распространения крайне невелик. Явно эксклюзивным институтом является система патентного права, которой и Норт с соавторами, и Аджемоглу с Робинсоном придают исключительно важное значение (подробнее об этом см. в Приложении). В то же самое время инклюзивные институты могут быть сверхэкстрактивными, как это демонстрирует феномен «трагедии общедоступности» (tragedy of commons).

Эксклюзивность — не синоним всего плохого, а инклюзивность — не синоним всего хорошего. Вообще под этим углом зрения весь ход мировой экономической истории мог бы прочитываться как непрекращающийся поиск оптимальных сочетаний инклюзивных и эксклюзивных институтов. Так, вопреки утверждениям Аджемоглу и Робинсона, переход от мальтузианского к шumpетерианскому экономическому росту был связан не столько с наступлением частной собственности, сколько с ее отступлением. В доиндустриальных обществах предметом купли-продажи являлись права входа на рынок, права входа в профессию, права на занятие публичных должностей (судей, сборщиков налогов и других), почетные титулы, права на спасение души, права на судебный иммунитет и т.д. Представление о том, что рождение современного капитализма сопровождалось безудержной экспансией частной собственности, является аберрацией. Напротив, при переходе к нему частная собственность перестала быть универсальным институтом и многие важнейшие нематериальные ресурсы были выведены из сферы ее действия. Так, право входа на рынок и право входа в профессию были переведены из частной собственности в общедоступную, а право на занятие публичных должностей — из частной собственности в государственную.

Нельзя не отметить, что в своем анализе Аджемоглу и Робинсон на каждом шагу демонстрируют двойные оценочные стандарты. Отчетливее всего это видно из того, в каких выражениях они описыва-

ют действия английского государства по насильственному перераспределению земельной собственности до и после Славной революции. Огораживания, происходившие до нее, — это «незаконный захват общинных землевладений», свидетельствующий об отсутствии надежных прав собственности, но огораживания, а также многочисленные случаи отъема земли под платные дороги, каналы и железнодорожные пути, происходившие после нее, — это «реформа земледелия», «изменение природы собственности», «реорганизация прав собственности» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 271–272).

Но так не бывает: неприкосновенность прав собственности либо есть, либо ее нет; либо их защита — высший приоритет, либо это фикция. При этом они обходят молчанием то немаловажное обстоятельство, что члены английского парламента, инициировавшие соответствующие законодательные акты, делали это за внушительные взятки от тех, в чью пользу происходило перераспределение. В общем, до Славной революции взятки — коррупция, после нее — «плюралистический институт» подачи петиций (Там же, 271). Аналогичным образом повышение налогов до Славной революции — это ужасно, но после нее — это очень хорошо. Раздача монополий на ведение заморской торговли до Славной революции — это плохо, но установление запретительно высоких ввозных пошлин после нее — это нормально, хотя, по оценкам историков, степень «меркантилистичности» внешнеторговой политики Англии после «перетекания» власти от короля к парламенту не уменьшилась, а значительно возросла.

Деление политических институтов на инклюзивные и экстрактивные де-юре и де-факто предоставляет Аджемоглу и Робинсону широкий простор для того, чтобы классифицировать различные политические системы так, как им удобнее. Возьмем в качестве примера Индию. Казалось бы, там существует инклюзивная политическая система. Нет, возражают Аджемоглу и Робинсон, существующие в Индии политические институты являются де-факто экстрактивными. Почему? Потому что определенный процент мест в индийском парламенте занимают люди с судимостью. Но тогда возникает вопрос: как мерить степень инклюзивности/экстрактивности? Какая система политических институтов более инклюзивна — та, что при наличии всеобщего избирательного права существует в современной Индии, или та, что при отсутствии всеобщего избирательного права существовала в Англии на рубеже XVII–XVIII вв., но которая, как

утверждается, несмотря на это, оказалась в состоянии стать триггером Промышленной революции и запустить процесс шумпетерианского «созидательного разрушения»?

Как уже упоминалось, центральное место в объяснительной схеме Аджемоглу и Робинсону принадлежит понятию «широкая коалиция». Однако никаких указаний, где проходит количественная граница между «узкими» и «широкими» коалициями, не дается. По их собственным подсчетам, переход Англии к плюралистическим институтам произошел в условиях, когда избирательными правами пользовались лишь около 2% населения страны (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 263)²⁸. Возникает вопрос: почему же тогда аналогичный переход не удался огромному числу развивающихся стран, где право голоса имеют 100% населения? Конечно, на это авторы «Почему одни страны богатые, а другие бедные» могли бы резонно возразить, что у них речь идет не о формальных, а о реальных политических институтах — не об избирательных правах или выборах, а о том, каковы сила и масштабы коалиции, чьи интересы на деле представляет политическая власть. Но даже после этого уточнения все равно остается непонятным: должны ли мы понимать так, что 2% — это некий «порог» политической инклюзивности и что развивающиеся страны терпят крах только потому, что действующие в них правительства представляют «реальные» интересы менее чем 2% населения? Или дело все-таки в чем-то другом?

В изображении Аджемоглу и Робинсона республиканский Рим или Венецианская республика первых веков своего существования выглядят намного более «инклюзивно», чем Англия накануне Славной революции. Во времена республики «Рим представлял собой хорошо организованное и стабильное государство»; его политические институты составляли «основу процветания республики»; его граждане обладали «политическими и экономическими правами»; «были созданы весьма разумные политические институты со множеством инклюзивных элементов»; «такой порядок снижал возможность злоупотреблений и того, что власть будет сосредоточена в одних руках»; «институты республики были построены на системе сдержек и противовесов, позволявшей распределять власть в достаточно широких

²⁸ Нельзя не признать также, что называть «широкой» коалицию, представляющую интересы 2% населения, уже само по себе достаточно экстравагантно.

слоях населения»; «в политических институтах республики имелись элементы плюрализма»; «политические и юридические гарантии <...> создали экономические возможности для граждан и привнесли некоторую степень инклюзивности в экономические институты» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 218–223). Еще лучше обстояли дела в Венеции: она имела «отлично развитый набор инклюзивных экономических институтов» и «постепенно развивавшуюся политическую инклюзивность»; серия инноваций в области контрактного права сделала ее «экономические институты значительно более инклюзивными»; ее политическая система становилась «все более открытой»; «власть постепенно все более ограничивалась вследствие общих изменений в политических институтах»; ее «инклюзивные экономические и политические институты» начали «поддерживать друг друга»; должность дожа была выборной и его власть жестко ограничивалась; «политические реформы вели к развитию дальнейших институциональных инноваций — появлению независимых выборных чиновников, судей и апелляционных судей»; наконец, наблюдавшийся в ней «экономический рост, поддержанный инклюзивными венецианскими институтами, сопровождался созидательным разрушением» (Там же, 209–212).

Почему же тогда переход к полной инклюзивности произошел в Англии, а не в Риме или Венеции? Единственный ответ, который допускает схема Аджемоглу/Робинсона, — потому что ей довелось столкнуться с иной точкой перелома, чем те, с которыми пришлось иметь дело им. Но если это так, то тогда институты не могут считаться фундаментальной причиной экономического роста: если в Риме или Венеции они были не хуже, чем в Англии, то, значит, дело не в них, а в каких-то иных, внеинституциональных факторах.

Если внимательнее присмотреться к объяснениям как Норта/Уоллиса/Вейнгаста, так и Аджемоглу/Робинсона, то трудно удержаться от вывода, что они являются лишь «условно» институциональными, поскольку на деле вовсе не институты выступают в них в роли глубинных драйверов экономического развития. Во многом их объяснения представляют собой возврат к ранней нортовской концепции, где всё решали изменения в объективных экономических условиях, таких как размеры рынка, структура относительных цен, характер используемых технологий и т.д. (North, 1981). (В книге Аджемоглу и Робинсона такие изменения обозначаются как «вызовы времени»

или как «экономические и политические вызовы».) Единственное значимое отличие от раннего Норта состоит в том, что влияние этих изменений на эволюцию экономических институтов осуществляется не напрямую, а через промежуточное звено в виде эволюции политических институтов, и не гладко, а через сопротивление групп, располагающих политической властью.

В результате если у раннего Норта изменения в объективных экономических условиях всегда приводили к формированию эффективных экономических институтов, то у Норта/Уоллиса/Вейнгаста и Аджемоглу/Робинсона это не так. Подобные изменения могут подталкивать разные институциональные системы как к большей, так и к меньшей эффективности в зависимости от того, какие черты — более «инклюзивные» или более «экстрактивные» — они приобрели в ходе предшествующей эволюции. Исходя из этого можно возразить, что конечный выбор в пользу роста или стагнации делается все-таки институтами, потому что реакция на изменения в объективных экономических условиях зависит от их характеристик. Но ведь сами эти институциональные характеристики являются, в свою очередь, продуктом изменений в объективных экономических условиях, имевших место ранее!

В итоге в нортианских схемах институты предстают всего лишь как передаточный механизм от прошлых изменений в размерах рынка, структуре относительных цен, используемых технологиях к нынешним: «Относительные цены, демография, экономический рост, технологии и множество других переменных постоянно меняются, оказывая влияние на власть и положение различных элит» (Норт, Уоллис, Вейнгаст, 2011, 97). В этом пассаже особенно примечателен пункт относительно технологий: сначала нам объясняли, что ход технологического прогресса определяется институтами, а теперь сообщают, что смена институтов определяется ходом технологического прогресса!

Славная революция — поворотный пункт мировой истории?

Для любой концепции, претендующей на выявление общих исторических закономерностей, решающим является тест, связанный с центральным эпизодом экономической истории последних тысяче-

летий — Первой промышленной революцией. Признать какой-либо подход эмпирически валидным можно только в том случае, если он способен объяснить логику перехода от мальтузианского к шумпетерианскому экономическому росту. В рамках панинституционализма такое объяснение было предложено в знаменитой статье Д. Норта и Б. Вейнгаста (North, Weingast, 1989). Их трактовка была сразу безоговорочно принята подавляющим большинством мейнстримных экономистов и стала канонической.

Если говорить кратко, то, согласно этой трактовке, английская Славная революция (1688) впервые за всю историю человечества создала инклюзивную («хорошую») систему политических институтов; та, в свою очередь, опять-таки впервые за всю историю человечества создала надежно защищенные права собственности; появление же не существовавшей никогда ранее инклюзивной («хорошей») системы экономических институтов стало спусковым механизмом для развертывания современного экономического роста. Сама Славная революция была осуществлена широкой коалицией социальных групп, возникшей случайно в Англии в конце XVIII в., что также явилось абсолютно беспрецедентным событием, не виданным в мировой истории: «Фундаментальные изменения в английском обществе, следовавшие в результате Славной революции, явились критически важным фактором развития английской экономики. <...> Одним из главных последствий этих изменений стала более высокая защищенность прав собственности» (Норт, 1997, 176—177); «Славная революция создала первый в мире полный набор инклюзивных политических институтов» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 142); «Сегодня Великобритания богаче Египта потому, что в 1688 г. в ней (если быть точным, то в Англии) произошла революция, которая изменила политический строй, а затем и экономику страны. <...> Великобританию ее траектория скоро привела к промышленной революции» (Там же, 15); «Все изменилось после Славной революции. Государство создало систему институтов, которые стимулировали инвестиции, инновации и торговлю. Оно твердо защищало права собственности» (Там же, 143); «Четко определяя права собственности на все активы, правительство способствовало быстрому развитию инфраструктуры. Эти нововведения запустили маховик экономического развития, которое проложило дорогу к промышленной революции. Не случайно, что промышленная революция началась в Англии всего спустя несколько

десятилетий после Славной революции» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 143–144); «Именно Славная революция укрепила и упорядочила права собственности, улучшила финансовые рынки, положила конец государственным монополиям в международной торговле, сняла барьеры для развития промышленности» (Там же, 285); «Славная революция стала историческим событием именно потому, что она была осуществлена широкой коалицией и в дальнейшем привела к укреплению и расширению ее влияния» (Там же, 288).

Для панинституционалистов этот нарратив — непререкаемая истина. Его критическое значение для исследовательской программы Норта/Аджемоглу нетрудно понять: если надежные права собственности действительно появились впервые только после 1688 г., то, значит, именно они имеют ключевое значение для экономического роста; но если Англия имела их задолго до этого или если наряду с Англией их имели многие другие страны, то стать «мотором» современного экономического роста они не могли.

Итак, Славная революция создала первое в мире нехищническое государство, подготовив тем самым почву для индустриализации. Согласно Норту и Вейнгасту, чтобы экономический рост в принципе стал возможен, требуются сильные парламентские институты, представляющие интересы «держателей богатства» (wealth holders) (North, Weingast, 1989). Именно так все и случилось в ходе Славной революции: она настолько усилила власть парламента, что ему впервые за всю историю человечества удалось ввести «хорошие» экономические институты (говоря иначе, защищенные права собственности): «Государство оказалось связано обязательствами не конфисковывать активы» (North, 1991, 107).

Инклюзивность парламентского правления обеспечивалась двумя факторами: во-первых, парламент допускает намного большее разнообразие точек зрения, чем монархическое правление (вследствие чего издержки для соискателей ренты возрастают); во-вторых, парламент, где широко представлены «держатели богатства», начинает отстаивать их интересы, главнейший из которых — обеспечение надежной защиты прав собственности. (Так, поскольку в Англии конца XVII в. «многие из членов парламента занимались торговлей и производством, в их интересах было обеспечить соблюдение прав собственности» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 262)).

Как следует из статьи Норта и Вейнгаста, действовавшая в английском парламенте коалиция *wealth holders* состояла из крупных землевладельцев, купцов, промышленников и кредиторов государства. Ее возросшее политическое влияние благодаря установлению эффективного парламентского контроля над исполнительной властью позволило впервые в мире создать защищенные права собственности: «Приверженность защищенным правам собственности была самым главным фактором институциональных изменений во время Славной революции» (North, Weingast, 1989, 824); «Права собственности, недостаточно защищенные при Стюартах, охранялись теперь более надежно» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 266).

Отсюда следуют два эмпирических предсказания: 1) страны с сильными парламентами, выражающими интересы «держателей богатства», должны быть экономически успешны; 2) в показателях развития Англии в районе 1688 г. должен наблюдаться структурный разрыв (*break*) — экономический и институциональный. Выдерживает ли этот панинституционалистский нарратив проверку фактами?

Эмпирический тест 1. Доступные исторические свидетельства показывают, что наличие парламента, в котором широко представлены «держатели богатства» и который может эффективно контролировать исполнительную власть, не гарантирует того, что в нем будет обязательно процветать разнообразие точек зрения и что он всегда будет проводить политику поощрения роста. Целый ряд европейских государств раннего Нового времени имели сильные парламенты, состоявшие из представителей *wealth holders* и успешно контролировавшие исполнительную власть, но при этом поддерживавшие институты, которые препятствовали экономическому росту.

Так, в Польше сейм обладал правом вето и без его согласия король не мог провести ни одного закона, а также не мог принять ни одного решения по вопросам экономической политики. Группа «держателей богатства» состояла из крупных землевладельцев-нотаблей, которой принадлежало большое число мест также и в английском парламенте. Однако никакого разнообразия точек зрения в польском сейме не наблюдалось: все усилия его членов были направлены на выбивание привилегий в интересах шляхты. Этим, в частности, объяснялось их активное сопротивление «прорыночным» мерам, уже применявшимся другими европейскими странами. В XVI–XIX вв. польские крестьяне подверглись вторичному закрепощению, кото-

рое наделило шляхту принудительной властью над ними и стало сильнейшим тормозом для развития аграрного сектора страны. Это привело к тому, что уровни душевого ВВП и темпы роста, наблюдавшиеся в Польше, были намного ниже, чем в большинстве других европейских стран. В более авторитарных государствах, где баланс сил был смещен в пользу правителей, крепостная система принимала более мягкие формы и была отменена раньше, поскольку сильная исполнительная власть была способна успешно противостоять наиболее одиозным проявлениям рентоориентированного поведения крупных землевладельцев (пример — Пруссия). Все указывает на то, что в Польше парламентский контроль над исполнительной властью использовался не для поощрения, а для удушения экономического роста (Ogilvie, Carus, 2014).

На это можно возразить, что польский сейм состоял исключительно из представителей крупных землевладельцев и не включал представителей торговых, промышленных и банковских кругов, как это было в английском парламенте. Однако это возражение не работает в случае Вюртемберга, который начиная с конца XVI в. был высокодемократичным государством с сильным парламентом, эффективно ограничивавшим власть суверена²⁹. В Вюртемберге отсутствовало крепостное право, так что крупных землевладельцев в нем не было вообще. Парламент формировался целиком из представителей бизнеса, выбиравшихся гражданами от примерно шестидесяти избирательных округов. Однако экономическая политика, которая поддерживалась вюртембергским парламентом, сводилась к раздаче монополий и других привилегий группам со специальными интересами, таким как гильдии ремесленников, розничных торговцев и т.д., что способствовало длительной экономической стагнации Вюртемберга и его поздней индустриализации. В германских государствах с более авторитарным правлением, таких как Пруссия, суверен был намного сильнее парламента и поэтому мог эффективно противодействовать давлению групп со специальными интересами. Пруссские императоры смогли достаточно рано приступить к реформам, лишавшим привилегий гильдии, муниципальные корпорации и сельские общины. Так, в Пруссии гильдии были уничтожены в 1808 г.,

²⁹ Один из видных политических деятелей Великобритании XVIII в. Чарльз Фокс утверждал, что в Европе есть только два конституционных государства — Англия и Вюртемберг.

тогда как в Вюртемберге просуществовали до 1864 г. В результате на протяжении полутора веков с 1750 г. по 1900 г. темпы экономического роста в Пруссии оставались намного выше, чем в Вюртемберге (Ogilvie, Carus, 2014)

Еще более яркий пример дают Нидерланды, где сильный парламент, формируемый из представителей богатых слоев, также не смог создать институциональную основу для экономического роста. С момента основания в 1581 г. и до роспуска в 1795 г. Нидерланды были республикой, управлявшейся Генеральными штатами, куда избирались представители от семи провинций (при этом каждая провинция имела еще и свой парламент). Суверена не существовало вообще, так что парламентский контроль над исполнительной властью был абсолютным. Членами парламента являлись крупные торговцы, промышленники и банкиры. Хотя на протяжении большей части XVII в. экономика Нидерландов росла ускоренными темпами («голландское чудо»), после 1670 г., оставаясь республикой, она впала в длительную стагнацию. В первую очередь это было связано с политикой, направленной на извлечение ренты, которую проводили представители бизнес-элиты в парламенте. С начала XIX в. (после французской оккупации) рост возобновился, но оставался крайне слабым и к индустриализации Нидерланды приступили одними из последних в Европе. Казалось бы, в Нидерландах было все, что Норт и Вейнгагст считают необходимым для начала устойчивого экономического роста: исполнительная власть под контролем сильного парламента; парламент, состоящий из «держателей богатства»; «держатели богатства», представляющие крупный бизнес, — все, кроме самого экономического роста (Там же)³⁰.

Как видно из этих примеров, наряду с Англией многие европейские страны раннего Нового времени также имели сильные парламенты, стоявшие над исполнительной властью и рекрутировавшиеся из «держателей богатства», прежде всего — из представителей коммерческих кругов. Тем не менее «хорошей» они признавали полити-

³⁰ К этому можно добавить, что во многих случаях английский парламент сам проводил рентоориентированную политику, подрывавшую экономический рост: в течение долгого времени он сохранял такие «экстрактивные» институты как рабовладение и работорговлю; активно поддерживал колониальную систему; широко прибегал к различным меркантилистским мерам (таким как запретительные тарифы во внешней торговле).

ку, которая обогащала их и была тормозом для роста. Страны с сильными парламентами оставались бедными (Польша), переживали длительную стагнацию (Вюртемберг), скатывались от роста к стагнации (Нидерланды) (Ogilvie, Carus, 2014). Норт и Вейнгаст утверждают, что «институциональная структура, которая сформировалась в Англии после 1688 г., не создавала для парламента стимулов к тому, чтобы самому занять место короны и погрязть в таком же “безответственном поведении”, как она» (North, Weingast, 1989, 804). Но у них нет реального объяснения, почему английский парламент повел себя иначе, чем парламенты Польши, Вюртемберга или Нидерландов.

Эмпирический тест 2. Трактовка Славной революции как поворотного пункта мировой истории предполагает, что в политических институтах и экономической динамике Англии в районе 1688 г. должен был наблюдаться резкий разрыв: «прыжок» с одной траектории развития на другую. Но и то и другое Норт и Вейнгаст скорее декларируют, не приводя развернутых эмпирических подтверждений.

В то же время анализ политической истории Англии показывает, что Славную революцию следует считать не столько абсолютной институциональной новацией, сколько продолжением долговременного векового тренда. Контроль парламента над короной существовал в Англии (с перерывами) весь средневековый период. Стюарты предприняли попытку отойти от этой вековой традиции, после чего Славная революция просто-напросто восстановила право вето парламента, уже существовавшее несколько столетий. (Единственной действительно серьезной новацией стало то, что парламент получил также право контроля над расходами короны.) Это заставляет усомниться в том, что Славная революция могла внести решающий вклад в экономический рост XVIII в., не говоря уже о том, чтобы она могла стать триггером Промышленной революции, которая началась на три четверти столетия позднее.

Какие-либо свидетельства резкого ускорения экономического роста после 1688 г. также отсутствуют. Скорее, можно говорить об обратном, поскольку в первой половине XVIII в. его темпы были даже ниже, чем во второй половине XVII в. Анализ динамических рядов по 50 показателям социально-экономического развития Англии за период 1500—1820 гг. не выявил структурных разрывов в районе 1688 г. ни в одном из них (Murrell, 2017). Похоже, возросшая власть парламента никак не отразилась ни на темпах экономического роста, ни

на сроках индустриализации. Ничто не указывает на то, чтобы сильные парламенты, представляющие интересы бизнеса, могли считаться ядром институтов, способствующих экономическому росту.

Центральный тезис Норта и Вейнгаста состоит в том, что защищенные права собственности появились впервые в истории внезапно в одном конкретном месте — Англии — и в один конкретный момент времени — после Славной революции 1688 г. Три четверти века спустя этот внезапный и эпохальный сдвиг от незащищенных к защищенным правам собственности позволил Англии опередить другие государства Европы и стать пионером индустриализации (North, Weingast, 1989). Как можно понять из их анализа, с этого момента права собственности сделались надежно защищенными для трех групп экономических агентов: землевладельцев, что дало мощные стимулы для инвестиций в сельское хозяйство; кредиторов государства, что способствовало бурному развитию финансовых рынков; налогоплательщиков, что оградило их от ненасытных аппетитов государства. Славная революция впервые за всю историю ввела институциональные ограничения на способность правителя конфисковывать земли и капитал, принадлежащие частным лицам, что открыло для них возможность «вступать в надежные контрактные отношения как в пространстве, так и во времени» (Там же, 831). По словам Аджемоглу и его соавторов, Европа Средних веков и раннего Нового времени была неспособна на экономический рост «из-за отсутствия прав собственности для землевладельцев, купцов и протопромышленников» (Acemoglu et al., 2005a, 393).

Права землевладельцев. Согласно Норту и Вейнгасту, до 1688 г. земельная собственность в Англии оставалась практически незащищенной даже во времена политической стабильности, так как суверен мог беспрепятственно перераспределять ее в свою пользу. Аджемоглу и Робинсон поясняют: «Архаичная система прав собственности на большую часть земли делала инвестиции в нее рискованными, поскольку землю во многих случаях нельзя было продать. Все изменилось после Славной революции» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 143).

Однако исторические свидетельства говорят о другом. Надежные права собственности на землю существовали в Англии начиная примерно с XI в. (Smith, 1974; Macfarlane, 1978; Harris, 2004; Campbell, 2005; Clark, 2007; McCloskey, 2010; Bekar, Reed, 2013; Ogilvi, Carus, 2014). Современники (от мелких фермеров до крупных лендлордов,

от судей до высших аристократов и самого короля) считали права собственности на землю в Англии прочно защищенными и не подлежащими угрозе конфискаций (Pollock, Maitland, 1895). Земельная собственность частных лиц была надежно защищена от конфискаций как со стороны правительства, так и со стороны могущественных элитных групп; она имела надежную защиту и в том, что касалось прав на продажу, аренду, заклад, завещание и другие формы ее отчуждения. Королевские, церковные, епископальные и манориальные суды конкурировали друг с другом за предоставлению юридических услуг по защите прав собственности даже тем, кто занимал низшие ступени социальной лестницы (Smith, 1974; Macfarlane, 1978; Britnell, 1996; Whittle, 1998, 2000; Campbell, 2005; Clark, 2007; McCloskey, 2010; Briggs, 2013; Ogilvie, Carus, 2014).

Массив исторических свидетельств настолько велик, что даже Норт и Вейнгаст вынуждены признать «фундаментальную прочность английских прав собственности и норм общего права, сформировавшихся после Великой хартии вольностей» (North, Weingast, 1989, 831). Следует добавить, что Билль о правах (1689), принятый на волне Славной революции, не накладывал никаких ограничений на право английского правительства конфисковывать частную собственность, а также не требовал выплаты компенсации в случае проведения таких конфискаций (Harris, 2004). В данном отношении собственникам земли не было предоставлено никаких дополнительных гарантий по сравнению с теми, что существовали раньше. Однако независимо от отсутствия каких-либо законодательных ограничений на действия исполнительной власти английская система общего права обеспечивала широкую защиту прав собственности и суды демонстрировали независимость от правительства задолго до 1688 г.

Хотя политические пертурбации всегда вносят в отношения собственности элемент неопределенности и нестабильности, для того, чтобы инвесторы отказались от вложений из-за страха перед возможными конфискациями, значение имеет защищенность прав собственности *ex ante*, а не их защищенность *ex post*. Поскольку же инвесторы не могли заранее предвидеть события, которым предстояло произойти в Англии в XVII в. (Гражданская война, Реставрация и т.д.), это никак не могло повлиять на их решения (McCloskey, 2010). Возможно, лучший количественный индикатор, с помощью которого можно судить о степени защищенности прав на земельную соб-

ственность, — это динамика рент и цен на землю. Проанализировав данные за 1540—1750 гг., Г. Кларк показал отсутствие в ней какого-либо структурного разрыва в районе 1688 г. (Clark, 1996).

Защищенные права собственности на землю с давних времен имелись также во многих других европейских странах: в Италии, Нидерландах, Вюртемберге крестьяне могли свободно продавать землю, закладывать, сдавать в аренду, завещать. По оценке Ш. Огилви и Э. Кейруса, «надежные права собственности на землю существовали в большинстве европейских обществ Средневековья и раннего Нового времени» (Ogilvie, Cagus, 2014, 437). Китай имел надежные права собственности на землю на протяжении тысячелетий (McClosky, 2010).

Вместе с тем, по мнению ряда историков, после Славной революции права собственности на землю стали не более, а менее защищенными. Как отмечал Дж. Хоппит, «до 1688 г. деспотическая власть была под рукой лишь временами, но после она была под рукой всегда» (Hoppit, 1996). За 1730—1850 гг. парламент принял 5200 актов о пересмотре прав собственности на землю, в результате которых был перераспределен 21% земельного фонда страны, причем зачастую против воли собственников.

Права кредиторов государства. Согласно Норту и Вейнгасту, обеспечив верховенство парламента в вопросах государственных финансов, Славная революция создала условия, при которых кредиторы могли смело доверять капиталы государству, будучи уверены, что оно не откажется от выполнения своих долговых обязательств. Так как кредиторы стали доверять Английскому правительству больше, чем его зарубежным конкурентам, это позволило ему занимать гораздо большие суммы под гораздо более низкий процент, чем раньше. Защищенность прав собственности для кредиторов государства возникла одномоментно после 1688 г. и привела к появлению «безличных рынков капитала» (North, Weingast, 1989, 831). Это стало прологом к финансовой революции, которая существенно улучшила работу кредитных рынков и способствовала ускорению роста экономики, направив резко возросший поток инвестиций в сельское хозяйство, торговлю и промышленность. Установление надежных прав собственности для кредиторов государства показывает, «как институты играют незаменимую роль, делая возможными экономический рост и политическую свободу» (Там же, 831).

Однако эта картина плохо согласуется с имеющимися фактами. С одной стороны, как указывает известный историка финансов П. О'Брайен, в Англии права кредиторов государства были достаточно защищены уже с начала XVII в. и институты, необходимые для хорошего управления государственными финансами, имелись задолго до Славной революции (O'Brien, 2001). С другой стороны, высокая степень неопределенности сохранялась и после 1688 г., потому что для частных кредиторов эффективный надзор за государственными финансами оставался недоступным. В результате никакого разового переключения от недоверия к доверию не было: степень доверия кредиторов к государству продолжала колебаться в прямой зависимости от политических событий. Как показывает анализ, процент по государственным займам продолжал оставаться высоким и волатильным в течение сорока лет после Славной революции (Stasavage, 2002).

Еще важнее, что низкий процент по займам для государства не означал низкого процента по займам для частного сектора. Если экономика является открытой и, следовательно, предложение кредитных ресурсов высокоэластично, то при снижении процента по государственным займам процент по частным займам останется без изменений. Если экономика является закрытой и, следовательно, предложение кредитных ресурсов неэластично, то при снижении процента по государственным займам процент по частным займам повысится, ухудшив условия кредитования для частных лиц. Таким образом, вопреки тому, что утверждают Норт и Веингаст, снижение процента по займам для государства никак не могло положительно повлиять на процент по займам для частного сектора: эффект мог быть либо нейтральным, либо даже отрицательным.

Хотя возможности английского государства финансировать войны действительно возросли, но кредиты для частного сектора от этого не подешевели (McClosky, 2010). Норт и Веингаст смешивают рост военной мощи государства, который был обеспечен финансовой революцией XVIII в., с ростом богатства общества: расширение финансовых возможностей государства — это не то же самое, что укрепление прав собственности для частных лиц. К тому же задолго до Англии государство уже превратилось в надежного должника в Любеке, Гамбурге, Генуе, Венеции, Нидерландах, но это не ускорило в них приход индустриализации.

Права налогоплательщиков. Согласно Норту и Вейнгасту, до 1688 г. корона регулярно занималась конфискацией богатства частных лиц через налоги. Благодаря неограниченной налоговой власти она контролировала огромную часть ресурсов английской экономики и снижала степень защищенности прав собственности своих подданных на остававшиеся у них ресурсы. Славная революция покончила с этим, впервые за всю мировую историю ограничив право государства произвольно изымать у индивидов их собственность в форме налогов.

Но и это представление не согласуется с фактами. Прежде всего необходимо отметить, что хотя Билль о правах сделал введение налогов вновь зависящим от одобрения парламента, но при этом он ничем не ограничил возможности самого парламента по установлению новых налогов и не потребовал получения согласия на это от основной массы налогоплательщиков, не представленных в парламенте. В период 1689—1812 гг. доходы государства резко выросли как в абсолютном, так и в относительном выражении. При росте национального дохода в 3 раза, налоги (в мирное время) выросли в 15 раз (O'Brien, 2001). Если даже при Стюартах расходы государства никогда не поднимались выше 1,2—2,4% ВВП, то после Славной революции они увеличились до 8—10% ВВП (McClosky, 2010).

Таким образом, после 1688 г. доля национального дохода, по отношению к которой англичане сохраняли права частной собственности, резко сжалась. При этом налоговые поступления государство использовало не для предоставления общественных благ, а для ведения бесконечной череды войн (во время войны в Америке доля государственных расходов в ВВП приблизилась к 18%!). Средства шли не на развитие инфраструктуры или образование, а на военные цели и обслуживание государственного долга (O'Brien, 2001).

По некоторым оценкам, в период 1760—1820 гг. Великобритания демонстрировала более слабый экономический рост по сравнению как с предыдущим, так и с последующим периодами, не говоря уже о показателях современных экономик. Возможно, это было связано с тем, что она «пыталась делать две вещи одновременно — индустриализоваться и вести дорогостоящие войны, физически не имея ресурсов для той и другой» (Williamson, 1984, 689). Никакого сдвига к более защищенным правам налогоплательщиков не наблюдалось

и экономика Англии развивалась не благодаря, а вопреки резко возросшим налогам и расходам государства.

Как показывают исследования по экономической истории и истории права, в большинстве европейских обществ защищенные права собственности на землю, капитал и другие активы формировались постепенно на протяжении примерно полутысячелетия. Нигде они не были защищены идеально, но нигде и не отсутствовали полностью, постепенно улучшаясь с течением времени. Англия двигалась в том же направлении, что и большинство других европейских стран, и с этой точки зрения в ней не было ничего уникального, что могло бы объяснить, почему она первой начала движение по пути индустриализации: «Экономический рост никак не удастся приписать внезапному переключению от незащищенных к защищенным правам владения, использования и распоряжения ресурсами. Он оставался практически незатронутым постепенными изменениями, происходившими в режиме прав собственности» (Ogilvi, Carus, 2014, 459).

Заключение

Исторический нарратив, предлагаемый панинституционализмом, держится на предположении, что в доиндустриальных обществах права собственности отсутствовали даже формально или в лучшем случае существовали только на бумаге, подвергаясь непрерывным хищническим атакам со стороны элит, обладавших высоким потенциалом насилия. Многочисленные исторические исследования показывают, что этот нарратив – фикция: охраняемые права собственности стары как мир и существовали в десятках самых разных стран в самые разные периоды времени. Но если убрать из-под нортианской схемы эту опору, то рухнет вся конструкция. От ее объясняющей способности остается только банальный вывод о том, что страны, погруженные в институциональный хаос (скажем, охваченные гражданской войной), не могут быть экономически успешными. Конечно, у Норта и Аджемоглу можно найти немало интересных и глубоких частных наблюдений, но связная картина экономической истории из них не складывается.

Вместе с этим рухнет и другая опора панинституционализма. Если история знает множество гораздо более ранних случаев, когда

государство выступало гарантом прав собственности, мирно разрешавшим конфликты по их поводу, то ему нельзя отводить роль демиурга современного экономического роста. Тогда переход от мальтузианского к шумпетерианскому росту должен быть связан с действием каких-то иных сил, не имеющих прямого отношения к деятельности государства. Если выполнение государством третьей функций защитника и арбитра — достаточно рутинная практика, то Первая промышленная революция не может быть ее продуктом.

Это не значит, что права собственности не имеют значения. Напротив: именно потому, что они так важны, их в том или ином виде имело любое институционально стабильное общество. Вообще общество вправе называться «обществом» только тогда, когда оно в состоянии обеспечивать хотя бы минимальную их защиту. Охраняемые права собственности были неременным спутником всякого «благоустроенного» государства. Но именно потому, что в доиндустриальном мире они были широко распространены, ссылками на них невозможно объяснить «прыжок» от мальтузианского к шумпетерианскому экономическому росту.

Естественно, при систематических насильственных отъемах имущества или запредельных грабительских налогах экономическая активность останавливается. Но воздержание государства от катастрофических форм вмешательства в экономику — недостаточное основание для того, чтобы отводить ему роль «крупнейшего игрока» в процессе экономического роста (North, 1990).

Как мы могли убедиться, в нормативных вопросах панинституционализм занимает амбивалентную позицию. С одной стороны, он вроде бы выражает приверженность нормативным установкам, которые традиционно ассоциируются с классическим либерализмом. Но, с другой, видит в государстве главного агента институциональных изменений и считает одним из обязательных условий существования «хороших» институтов «большое правительство». Но о том, с чем либеральные принципы сочетаются лучше — с традиционной для классического либерализма идеей ограниченного правительства или с характерной для панинституционализма идеей «большого правительства», пусть читатели судят сами...

Приложение

Патентное право – фундамент Промышленной революции?

Как известно, непосредственным триггером Промышленной революции стал бум технического изобретательства, охвативший Англию с середины XVIII в. и принявший форму настоящей эпидемии. В рамках панинституционализма он, как и следовало ожидать, объясняется появлением (впервые за всю историю!) защищенных прав собственности – на этот раз прав интеллектуальной собственности в форме патентов. Англии посчастливилось иметь патентную систему с 1624 г., а Славная революция обеспечила надежную защиту прав изобретателей, когда они получали патенты на свои изобретения.

Каноническая для панинституционализма трактовка была предложена Д. Нортом (North, 1981). Темп технологического прогресса он поставил в зависимость от того, есть ли у изобретателей возможность «прибирать» к рукам основную часть выгод от своих инноваций или нет. Если да, то устойчивый технологический прогресс гарантирован: сделайте изобретения предметом частной собственности и они польются бурным потоком! Согласно Норту, эту задачу как раз и решает патентное право, которое позволяет приблизить частные нормы отдачи от изобретений к социальным: «Укрепление стимулов благодаря развитию патентного права, законов о коммерческой тайне и других нормативных актов повысило прибыльность инноваций, а также привело к созданию “промышленности изобретения” и ее интеграции в процесс экономического развития современного Западного мира» (Норт, 1997, 100); «Все изменилось после Славной революции. Государство <...> твердо защищало <...> права собственности на идеи, закрепленные в патентах, что было необыкновенно важно для стимулирования инноваций» (Аджемоглу, Робинсон, 2016, 143); «Не случайно, что промышленная революция началась в Англии всего спустя несколько десятилетий после Славной революции. Великие изобретатели <...> могли воспользоваться коммерческим потенциалом своих изобретений, будучи уверенными, что их права собственности священны. Кроме того, у них был доступ на рынок, где они могли с выгодой продать свои изобретения другим» (Там же, 144). Одним словом, без эффективной патентной системы, надежно защищавшей права на интеллектуальную собственность, Промышленная революция не состоялась бы.

Изложив основные пункты нортонской трактовки, Дж. Мокир задается вопросом: «Что же в этой картине не так?». И отвечает: «Да практически все» (Мокур, 2009, 349). Прежде всего она не объясняет, почему число патентов стагнировало на протяжении более чем ста лет после принятия патентного законодательства и только в середине XVIII в. вдруг продемонстрировало резкий скачок вверх. Систему патентного права, действовавшую тогда в Великобритании, трудно назвать эффективной: плата за получение патента составляла огромную по тем временам сумму — 100 фунтов в Англии (что примерно равнялось среднему годовому доходу представителей среднего класса) и 350 фунтов в других частях Соединенного королевства. Соответственно получить патент удавалось лишь считанным единицам достаточно состоятельных людей.

Кроме того, после получения патент должен был быть подтвержден судом, что, как правило, требовало от заявителей длительного пребывания в Лондоне, связанного со значительными дополнительными издержками, поскольку оно могло растягиваться на многие месяцы. Суды того времени крайне враждебно относились в любым формам монополии, считая патенты одной из них, так что чаще всего они отвечали заявителям отказом: за период 1770–1850 гг. из 12 тыс. выданных патентов было подтверждено судами только 257 (Там же, 349). Многие выдающиеся изобретатели так и не смогли подтвердить своих патентов в суде (например, Р. Аркрайт) и кончили жизнь в нищете. Не подтвержденные судами патенты не обеспечивали практически никакой защиты от кражи идей другими и потому не приносили почти никакой денежной отдачи: «Система патентов практически не защищала большинство инноваций <...> и любые новшества быстро перенимались другими производителями. <...> Последняя серьезная реформа патентной системы была произведена в 1689 г., более чем за 100 лет до того, как повышение эффективности приняло повсеместный характер. Кроме того, патентная система сама по себе сыграла незначительную роль в большинстве инноваций времен английской промышленной революции» (Кларк, 2012, 333). Лишь отдельным счастливым удавалось сколотить на своих изобретениях крупные состояния (так, получение патента на паровую машину обогатило Дж. Уатта).

Не менее важно, что патенты были лишь одним из многих возможных способов получения материальной выгоды от изобретения.

Изобретатели могли вознаграждаться солидными денежными премиями от парламента, а также от благотворительных ассоциаций, специально учрежденных для этой цели (самую большую премию — 30 тыс. фунтов — получил от британского парламента создатель вакцины против оспы Э. Дженнер). Наградой им могло также служить получение государственных синекур или высокооплачиваемых рабочих мест в частном секторе. Некоторые изобретатели демонстрировали на промышленных выставках свои изобретения (делая их таким образом всеобщим достоянием) только для того, чтобы привлечь внимание потенциальных работодателей к своим талантам.

Наконец, для огромного числа ученых и изобретателей денежная мотивация оставалась вторичной: многие из них крайне враждебно относились к самой идее частной собственности на идеи. Согласно их этическим представлениям, новые знания должны были становиться общим достоянием всего человечества. Так, М. Фарадей, как и многие другие выдающиеся ученые и инженеры того времени, из принципа отказывался брать патенты на свои изобретения. Главной наградой для себя они считали признание их заслуг обществом, а не состояния, которые можно было бы сколотить благодаря выдвинутым ими идеям.

Если патентная система и способствовала ускорению технологического прогресса, то в крайне ограниченной степени. По имеющимся оценкам, в период Промышленной революции запатентованные изобретения составляли лишь 11% от общего их числа (Moser, 2005; 2007). Более того, во многих случаях патенты оказывались серьезным тормозом на пути технологического прогресса. Патент на паровую машину, полученный Дж. Уаттом, на несколько десятилетий задержал ее распространение в английской экономике, так что во всеобщее употребление она смогла войти лишь во второй половине XIX в.

Опыт других стран также не дает оснований считать права на интеллектуальную собственность в виде патентов необходимым условием успешного технологического развития. Сама идея патентной системы родилась в Венеции, которая, однако, ничем не прославилась в области науки и техники. В Нидерландах патентная система была введена раньше, чем в Англии, — еще в XVI в., но в XVIII в. число выданных в ней патентов резко упало, так и оставаясь крайне низким до начала XIX в. Несмотря на то, что Нидерланды были одним из пионеров патентного права, они оказались в числе аутсайдеров

Промышленной революции, которая началась в них намного позже, чем в большинстве других европейских стран. Обратный пример: на протяжении практически всего XIX в. Швейцария успешно занималась кражей идей английских изобретателей, не стремясь к созданию собственной патентной системы, но оставаясь при этом одним из наиболее активных участников процесса технологического развития.

Итоговый вывод, к которому приходит Мокир, звучит приговором нортонской трактовке: «Энтузиазм, продемонстрированный Нортон по отношению к патентной системе как одному из решающих факторов технологического прогресса той эпохи, следовало бы охладить рядом неоспоримых исторических фактов и данных. <...> Оценку важности патентной системы для Британской промышленной революции пора бы сильно поумерить» (Мокир, 2009, 352–353).

Пример с английской патентной системой важен, поскольку он демонстрирует, что плохо защищенные права собственности (в данном случае — права интеллектуальной собственности) далеко не всегда оказываются непреодолимым препятствием для процесса «созидательно-го разрушения». При определенных условиях современный экономический рост может успешно идти, несмотря на слабую защищенность прав частной собственности, а возможно, даже благодаря ей.

Литература

Аджемоглу Д., Робинсон Дж.А. (2016) Почему одни страны богатые, а другие бедные. М.: Издательство АСТ.

Арсланов В.В. (2016) География, институты и истоки глобального неравенства: критика концепции экономического развития Аджемоглу и Робинсона (научный доклад). М.: Институт экономики РАН.

Заостровцев А.П. (2013) Об историческо-институциональных причинах отставания в развитии: концепция Асемоглу – Робинсона: Препринт М-34/13. СПб.

Кларк Г. (2012) Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира. М.: Издательство Института Гайдара.

Кейнс Дж.М. (1978) Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс.

Натхов Т.В., Полищук Л.И. (2017а) Политэкономия институтов и развитие: как важно быть инклюзивным. Размышления над книгой D. Acemoglu, J. Robinson. “Why Nations Fail”. Ч. I. Институты и экономическое развитие. Институциональный выбор // Журнал Новой экономической ассоциации. № 2. С. 12–38.

Натхов Т.В., Полищук Л.И. (2017б) Политэкономия институтов и развитие: как важно быть инклюзивным. Размышления над книгой D. Acemoglu, J. Robinson. “Why Nations Fail”. Ч. II. Институциональная динамика и выводы для России // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3. С. 12–32.

Норт Д. (1997) Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА».

Норт Д. (2004) Функционирование экономики во времени // Отечественные записки. № 6. С. 82–103.

Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. (2011) Насилие и социальные порядки: Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Издательство Института Гайдара.

Пайпс Р. (2008) Собственность и свобода. М.: Московская школа политических исследований.

Расков Д. (2011) Институциональные исследования как будущее социальных наук // Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки: Концептуальные рамки для интерпретации пись-

менной истории человечества. М.: Издательство Института Гайдара. С. 9–31.

Хайек Ф.А. (2018) Конституция свободы. М.: Новое издательство.

Acemoglu D. (2008) Growth and Institutions / S.N. Durlauf, L.E. Blume (eds). The New Palgrave Dictionary of Economics. L.: Palgrave Macmillan. Vol. 3. P. 2598–2603.

Acemoglu D., Johnson S.H. (2005) Unbundling Institutions // Journal of Political Economy. Vol. 113. No. 4. P. 949–995.

Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A. (2005a) Institutions As a Fundamental Cause of Long-Run Growth / P. Aghion, S.N. Durlauf (eds). Handbook of Economic Growth. Amsterdam/London: Elsevier. Vol. 1A. P. 385–472.

Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A., Yared P. (2005b) From Education to Democracy? // American Economic Review. Vol. 95. No. 2. P. 44–49.

Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A., Yared P. (2008) Income and Democracy // American Economic Review. Vol. 98. No. 3. P. 808–842.

Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A., Yared P. (2009) Reevaluating the Modernization Hypothesis // Journal of Monetary Economics. Vol. 56. No. 8. P. 1043–1058.

Allen D. (2011) The Institutional Revolution. Chicago: Chicago University Press.

Bates R. (1983) Essays on the Political Economy of Rural Africa Cambridge: Cambridge University Press.

Bekar C.T., Reed C.G. (2013) Land Markets and Inequality: Evidence from Medieval England. European Review of Economic History. Vol. 17. No. 2. P. 294–317.

Boldrin M., Levine D.K., Modica S. (2012) A Review of Acemoglu and Robinson's "Why Nations Fail" (<http://www.dklevine.com/general/aandreview.pdf>).

Briggs C. (2013) English Serfdom, c. 1200 – c. 1350: Towards An Institutional Analysis / S. Cavaciocchi (ed.) Schiavitù e servaggio nell'economia europea. Secc. XI–XVIII / Slavery and Serfdom in the European Economy from the 11th to the 18th Centuries. XLV settimana di studi della Fondazione istituto internazionale di storia economica F. Datini. Florence: Firenze University Press.

Britnell R. (1991) The Towns of England and Northern Italy in the Early Fourteenth Century // Economic History Review. Vol. 44. No. 1. P. 21–35.

Campbell B.M.S. (2005) The Agrarian Problem in the Early Fourteenth Century // *Past & Present* No. 188. P. 3–70.

Clark G. (1996) The Political Foundations of Modern Economic Growth: England, 1540–1800 // *Journal of Interdisciplinary History*. Vol. 26. No. 4. P. 563–588.

Cowen T. The Great Stagnation: How America Ate All The Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better. New York: Penguin Group, eSpecial from Dutton. 2011.

Cox G.W., North D.C., Weingast B. (2015). The Violence Trap: A Political-Economic Approach to the Problems of Development. Available at SSRN 2370622.

Crafts N. (2005) The First Industrial Revolution: Resolving The Slow Growth/Rapid Industrialization Paradox // *Journal of the European Economic Association*. Vol. 3. No. 2–3. P. 525–534.

Deakin S. (2009) Legal Origin, Juridical Form and Industrialization in Historical Perspective: The Case of the Employment Contract and the Joint-Stock Company // *Socio-Economic Review*. Vol. 7. No. 1. P. 35–65.

Eisenstadt Sh.N. (1973) Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism. Beverly Hills: Sage Publications.

Goldstone J.A. (2002) Efflorescences and Economic Growth in World History: Rethinking the ‘Rise of the West’ and the Industrial Revolution // *Journal of World History*. Vol. 13. No. 2. P. 323–389.

Greif A. (2006) Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade. Cambridge: Cambridge University Press.

Greif A., Mokyr J. (2016) Comment Institutions and Economic History: A Critique of Professor McCloskey // *Journal of Institutional Economics*. Vol. 12. No. 1. P. 29–41.

Harris R. (2004) Government and the Economy, 1688–1850 / R. Floud, P. Johnson (eds.). The Cambridge Economic History of Modern Britain. Cambridge: Cambridge University Press. Vol. 1: Industrialisation, 1700–1860. P. 204–237.

Hoppit J. (1996) Patterns of Parliamentary Legislation, 1660–1800 // *The History Journal*. Vol. 39. No. 1. P. 109–131.

Jones Ch.I. (2005) Growth and Ideas // Ph. Aghion, S. Durlauf (eds.). Handbook of Economic Growth. Amsterdam/London: Elsevier. Vol. 1. P. 1063–1111.

Kang D.C. (2003) Getting Asia Wrong: The Need for New Analytical Frameworks // *International Security*. Vol. 27. No. 4. P. 57–85.

Lipset S.M. (1959) Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy // *American Political Science Review*. Vol. 53. No. 1. P. 69–105.

Macfarlane A. (1978) *The Origins of English Individualism: the Family, Property and Social Transition*. Oxford: Blackwell.

McCloskey D.N. (2010) *Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press.

McCloskey D.N. (2016a) The Great Enrichment: A Humanistic and Social Scientific Account // *Scandinavian Economic History Review*. Vol. 64. No. 1. P. 6–18.

McCloskey D.N. (2016b) Comment: The Humanities Are Scientific: A Reply to the Defenses of Economic Neo-Institutionalism // *Journal of Institutional Economics*. Vol. 12. No. 1. P. 63–78.

Mokyr J. (2009) Intellectual Property Rights, the Industrial Revolution, and the Beginnings of Modern Economic Growth // *American Economic Review*. Vol. 99. No. 2. P. 349–355.

Mokyr J. (2010) *Culture, Institutions, and Modern Growth*. Paper presented at the Conference on Understanding Institutions and Development Economics: The Legacy and Work of Douglass C. North. St. Louis.

Moser P. (2005) How Do Patent Laws Influence Innovation? // *American Economic Review*. Vol. 94. No. 4. P. 1214–1236.

Moser P. (2007) *Why Don't Inventors Patent?* Cambridge (MA): NBER. NBER Working Paper No. 13294.

Murrell P. (2017) Design and Evolution in Institutional Development: The Insignificance of the English Bill of Rights // *Journal of Comparative Economics*. Vol. 45. No. 1. P. 36–55.

North D.C. (1981) *Structure and Change in Economic History*. New York: Norton.

North D.C. (1990) *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.

North D.C. (1991) Institutions // *The Journal of Economic Perspectives*. Vol. 5. No. 1. P. 97–112.

North D.C., Thomas R.P. (1973) *The Rise of the Western World*. Cambridge: Cambridge University Press.

North D.C., Weingast B.R. (1989) Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England // *Journal of Economic History*. Vol. 49. No. 4. P. 803–832.

O'Brien P.K. (2001) Fiscal Exceptionalism: Great Britain and its European Rivals from Civil War to Triumph at Trafalgar and Waterloo. LSE Department of Economic History Working Paper 65/01.

Ogilvie Sh., Carus A.W. (2014) Institutions and Economic Growth in Historical Perspective // Handbook of Economic Growth. Amsterdam/London: Elsevier. Vol. 2A. P. 403–513.

Pollock F., Maitland F.W. (1895) The History of English Law Before the Time of Edward I. Cambridge: Cambridge University Press.

Reckendrees A. (2015) Weimar Germany: The First Open Access Order That Failed? // Constitutional Political Economy. Vol. 26. No. 1. P. 38–60.

Schumpeter J.A. (1949) Science and Ideology // American Economic Review. Vol. 39. No. 2. P. 345–359.

Smith R.M. (1974) English Peasant Life-Cycles and Socio-Economic Networks: A Quantitative Geographical Case Study. University of Cambridge, Ph.D. Dissertation.

Stasavage D. (2002) Credible Commitment in Early Modern Europe: North and Weingast Revisited // Journal of Law, Economics and Organization. Vol. 18. No. 1. P. 155–186.

Swedberg R. (2009) Tocqueville's Political Economy. Princeton: Princeton University Press.

Treisman D. (2017) Democracy by Mistake. Cambridge (MA): NBER. NBER Working Paper No. 23944.

Weingast B.R. (2016) Exposing the neoclassical Fallacy: McCloskey on Ideas and the Great Enrichment // Scandinavian Economic History Review. Vol. 64. No. 3. P. 189–201.

Whittle J. (1998) Individualism and the Family-Land Bond: A Reassessment of Land Transfer Patterns among the English Peasantry // Past & Present. No. 160. P. 25–63.

Whittle J. (2000) The Development of Agrarian Capitalism: Land and Labour in Norfolk, 1440–1580. Oxford: Clarendon.

Williamson J.G. (1984) Why Was British Growth So Slow During the Industrial Revolution? // Journal of Economic History. Vol. 11. No. 36. P. 687–712.

Kapeliushnikov, R. I.

Contra Pan-institutionalism [Text] : Working paper WP3/2019/03 / R. Kapeliushnikov ; National Research University Higher School of Economics. — Moscow : Publishing House of the Higher School of Economics, 2019. — 84 p. — (Series WP3 “Labour Markets in Transition”). — 56 copies.

The paper provides a critical assessment of Pan-institutionalism — an approach which try to explain the course of the world economic history by changes in formal economic and formal political institutions. This approach is mono-causal since for it formal institutions do not simply matter: in fact they are all that matter. The most complete and elaborated versions of Pan-institutionalism were presented in two famous books — “Violence and Social Order” by D.C. North, J. Wallis and B.R. Weingast (2009) and “Why Nations Fail” by D. Acemoglu and J.A. Robinson (2012). Their ideas were taken by the Russian academic community as the last word in the modern economic and political sciences. The paper demonstrates methodological narrowness, conceptual inconsistency and historical inadequacy of Pan- institutionalism. In particular, it fails to provide a coherent explanation of the turning point of the world economic history — the Industrial revolution in England in the mid of XVIII century, i.e. a transition from Malthusian to Schumpeterian economic growth.

Препринт WP3/2019/03

Серия WP3

Проблемы рынка труда

Капелюшников Ростислав Исаакович

Contra панинституционализм

Зав. редакцией оперативного выпуска *А.В. Заиченко*

Технический редактор *Ю.Н. Петрина*

Отпечатано в типографии

Национального исследовательского университета

«Высшая школа экономики» с представленного оригинал-макета

Формат 60×84 ¹/₁₆. Тираж 56 экз. Уч.-изд. л. 5,1

Усл. печ. л. 4,9. Заказ № . Изд. № 2096

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

125319, Москва, Кочновский проезд, 3

Типография Национального исследовательского университета

«Высшая школа экономики»